

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



ГЛАВА

I

2-го числа сентября, часу в восьмом утра, Сборской, сядясь в тележку, запряженную двумя плохими извозчичьими лошадьми, пожал в последний раз руку своего товарища. — Прощай, мой друг! — сказал он. — Боюсь, что мне не удастся полечиться в Калуге. Пожалуй, эти французы и оттуда меня

выживут.

— Но точно ли правда, что они так близко от Москвы? — спросил Зарецкой.

— Да вот послушай, что он говорит, — продолжал Сборской, показывая на усатого вахмистра, который стоял вытянувшись перед офицерами.

— У страха глаза велики! — возразил Зарецкой. — Французов ли ты видел?

— Не могу знать, ваше благородие, французы ли — только не наши.

— Да где ж ты их видел?

— А вот вчера, ваше благородие, меня схватило на походе такое колотье, что не чаял жив остаться. Эскадрон ушел вперед, а меня покинули с двумя рядовыми в селе Везюме, верстах в тридцати отсюда. Мне стало легче, и я хотел на другой день чем свет отправиться догонять эскадрон; вдруг, этак перед сумерками, глядим — по Смоленской дороге пыль столбом! Мы скорей на коня да к околице; смотрим — скачут в медвежьих шапках, а за ними валит пехота, видимо-невидимо! Подскакали поближе — хлоп по нас из пистолетов! Мы также, да и наутек. Обогнали наших полков десять: одни идут на Москву, другие обходом; а эскадрон-то, видно, принял куда-нибудь в сторону — не изволите ли знать, ваше благородие?

— Нет, братец, не знаю, — сказал Сборской. — Послушай, Зарецкой, ты будешь держаться около Москвы, так возьми его с собою. С тобой надобно же кому-нибудь быть: ты едешь верхом. Прощай, мой друг!.. Тьфу, пропасть! не знаю, как тебе, а мне больно грустно! Ну, господа французы! дорвемся же и мы когда-нибудь до вас!

— Признаюсь, и у меня что-то вот тут неловко, — сказал Зарецкой, показывая на грудь.

— Французы под Москвою!.. Да что горевать, mon cher! придет, может быть, и наша очередь; а покамест... эй! Федот! остальные бутылки с вином выпей сам или брось в колодезь. Прощай, Сборской!

Сборской отправился на своей тележке за Москву-реку, а Зарецкой сел на лошадь и в провожании уланского вахмистра поехал через город к Тверской заставе. Выезжая на Красную площадь, он заметил, что густые толпы народа с ужасным шумом и криком бежали по Никольской улице. Против самых Спасских ворот повстречался с ним Зарядьев, который шел из Кремля.

— Ты еще здесь, братец? — сказал с удивлением Зарецкой.

— Сейчас отправляюсь, — отвечал Зарядьев. — Слава богу! развязался с моими пленными: их ведет ополченный офицер.

— Ну, что слышно?

— Говорят, будто бы Наполеон ночевал в Везюме.

— Так поэтому через несколько часов?..

— На Поклонной горе будут французы.

— А наши войска?..

— Те, которые здесь, выходят; а другие обошли Москву стороною.

— Итак, решительно ее уступают без боя?

— Да. Эх, Зарецкой, что бы вдоль Драгомиловского моста хоть разика два шарахнуть картечью!.. все-таки легче бы на сердце было. И Смоленск им не дешево достался, а в Москву войдут без выстрела! Впрочем, видно, так надобно. Наш брат фрунтовой офицер рассуждать не должен: что велют, то и делай.

— А мне кажется, — сказал Зарецкой, — что если бы дали сражение под Москвою, и здешние жители присоединились к войску...

— Да! — возразил Зарядьев, — много бы мы наделали с ними дела. Эх, братец! Что значит этот народ? Да я с одной моей ротой загоню их всех в Москву-реку. Посмотри-ка, — продолжал он, показывая на беспорядочные толпы народа, которые, шумя и волнуясь, рассыпались по Красной площади. — Ну на что годится это стадо баранов? Жмутся друг к другу, орут во все горло; а начни-ка их плутонгами, так с двух залпов ни одной души на площади не останется.

— Да что это они так расшумелись? — перервал Зарецкой. — Вон еще бегут из Никольской улицы... уж не входят ли французы?.. Эй, любезный! — продолжал он, подъехав к одному молодому и видному купцу, который, стоя среди толпы, рассказывал что-то с большим жаром, — что это народ так шумит?

— Сейчас, сударь, казнили одного изменника, — отвечал купец, приподняв вежливо свою шляпу.

— Изменника?.. А кто он такой?

— Стыдно сказать: русской и наш брат купец! Он еще третьего дня чуть было не попался, да ускользнул, проклятый!..

— Что ж он такое сделал?

— Да так, безделку! Перевел манифест Наполеона к московским жителям.

— Ах он негодяй! — вскричал Зарядьев. — Вот то-то и дело, забрил бы ему лоб, так небось не стал бы переводить наполеоновских манифестов. Купец!.. да и пристало ли ему, торгашу, знать по-французски? Видишь, все полезли в просвещенные люди!

— В этом еще немного худого, Зарядьев, — перервал Зарецкой. — Можно в одно и то же время любить французской язык и не быть изменником; а конечно, для этого молодца лучше бы было, если б он не учился по-французски. Однако ж прощай! Мне еще до заставы версты четыре надобно ехать.

Зарецкой выехал Иверскими воротами на Тверскую. Эта великолепная улица; за несколько недель до этого наполненная народом, казалась вовсе необитаемою. Нарядные вывески магазинов пестрелись по стенам домов; но все двери были заперты. Как молчаливые обидели иноков, стояли опустевшие палаты русских бояр. Давно ли под их гостеприимным кровом кипело все жизнью и весельем? Давно ли те самые французы, которые спешили завладеть Москвою, находили в них всегда радушный прием и, осыпанные ласками хозяев, приучались думать, что русские не должны и не могут поступать иначе?.. Проехав всю Тверскую улицу, Зарецкой остановился на минуту у Триумфальных ворот; он невольно поворотил свою лошадь, чтоб взглянуть еще раз на Москву. Сердце его сжалось, на глазах навернулись слезы. «Тьфу, пропасть! — сказал он вполголоса, — я чуть не плачу; а что мне до Москвы?.. Дело другое, если б родина моя — Петербург. Там есть у меня друзья, родные... а здесь ровно никого... и, несмотря на это, мне кажется... да, я отдал бы жизнь мою, чтоб спасти эту скучную, несносную Москву, в которой нога моя никогда не будет. Ах, черт возьми! Ну, прошу после этого быть всемирным гражданином!»

Он повернул свою лошадь и через несколько минут, выехав за Тверскую заставу, принял направо полевую к Марьиной роще.

— Осмелюсь доложить, ваше благородие! куда мы едем? — спросил уланской вахмистр.

— Покамест и сам не знаю; но, кажется, мы выедем тут на Троицкую дорогу, а там, может быть... Да, надобно взглянуть на Рославлева. Мы проживем, братец, денька три в деревне

у моего приятеля, потом пустимся догонять наши полки, а меж тем лошадь твою и тебя будут кормить до отвалу.

— Не худо бы, ваше благородие! Я еще и туда и сюда, а саврасый-то мой недели две овса не нюхал. На рысях от других не отстанет, а если б пришлось идти в атаку...

— Придется еще, братец, не беспокойся. Я уверен, что теперь скорей французы захотят мириться, чем мы.

— До мировой ли теперь, ваше благородие! Дело пошло на азарт, и если они возьмут да разорят Москву, так вся святая Русь подымется. Что в самом деле за буяны?.. Обидно, ваше благородие!

Зарецкой, не желая продолжать разговора с словоохотным вахмистром, вынул из кармана кисет, высек огню и закурил свою трубку. Миновав Марьину рощу, они выехали на дорогу, ведущую в Останкино; шагах в пятидесяти от них, той же самою дорогою, шел один прохожий. По его длинному кафтану, широкому поясу без складок, а более всего по туго заплетенной и загнутой кверху косичке, которая выглядывала из-под широких полей его круглой шляпы, нетрудно было отгадать, что он принадлежит к духовному званию; на полном и румяном лице его изображалось какое-то беззаботное веселье; он шел весьма тихо, часто останавливался, поглядывал с удовольствием вокруг себя и вдруг запел тонким голосом:

Вспоемте, братцы, канту прелюбезну, Воспомянем скуку — сердцу преполезну, Сидя в школе, Во покое, Гляди всюду, Обоюду...

— Послушайте-ка, любезный! — перервал Зарецкой, поравнявшись с певцом.

— *Quid est?* (Кто это? (лат.)) — вскричал прохожий, повернись к Зарецкому. — Что вам угодно, господин офицер? — продолжал он, приподняв шляпу.

— Не знаете ли, где нам проехать на Троицкую дорогу?

— Ступайте прямо, а там поверните направо, мимо рощи. Вон видите село Алексеевское? Оно на большой Троицкой дороге. А что, господин офицер, что слышно о французах?

— Я думаю, они будут сегодня в Москве.

— В Москве!.. Ну, нечего сказать — *satis pro peccatis!*.. (получили по грехам нашим!.. (лат.)) А впрочем, унывать не надобно: *finis corono-nat opus* — то есть: конец дело венчает; а до конца еще, кажется, далеко.

— И я то же думаю.

— Конечно, — продолжал ученый прохожий, — Наполеон, сей новый Аттила, есть истинно бич небесный, но подождите: *non semper erunt Saturnalia* — не все коту масленица. Бесспорно, этот Наполеон хитер, да и нашего главнокомандующего не скоро проведешь. Поверьте, недаром он впускает французов в Москву. Пусть они теперь в ней

попируют, а он свое возьмет. Нет, сударь! хоть светлейший смотрит и не в оба, а ведь он: *sibi in mente* — сиречь: себе на уме!

— Ого... — сказал, улыбаясь Зарецкой, — да вы большой политик, господин... господин...

— Студент риторики в Перервинской семинарии, — отвечал ученый, приподняв свою шляпу.

— А откуда вы, господин студент, идете и куда пробираетесь?

— Я вышел сегодня из Перервы, а куда иду, еще сам не знаю. Вот изволите видеть, господин офицер: меня забирает охота подраться также с французами.

— Вот что! — сказал Зарецкой. — Ай да господин ученый! Да не хотите ли вы в гусары?

— Ни, ни, господин офицер! Я хочу сражаться как простой гражданин. Теперь у нас, без сомнения, будет *bellum populare* — то есть: народная война; а так как крестьяне должны также иметь предводителей...

— Понимаю: вы метите в начальники русских гвериласов. Но ведь и тут надобен некоторый навык и военные познания; а вы...

— Я знаю наизусть все комментарии Цезаря *de bello Gallico* (О Галльской войне (лат.)), — отвечал с гордым взглядом семинарист.

— Вот это другое дело, — сказал преважно Зарецкой. — Итак, вы намерены...

— Драться до последней капли крови! Да, сударь! *Non est ad astra mollis et sera via* — лежа на боку, великим не сделаешься.

— Великим? Да уж не Александром ли вас зовут, господин студент?

— Точно так, господин офицер.

— Ого! вот куда вы лезете! Впрочем, вам предстоит карьера еще блистательнее... Командуя македонской фалангой, нетрудно было побеждать неприятеля; а ведь ваша армия будет состоять из мужиков, вооруженных вилами и топорами; летучие отряды из крестьянских баб, с ухватами и кочергами; передовые посты...

— Смейтесь, смейтесь, господин офицер! Увидите, что эти мужички наделают! Дайте только им порасшевелиться, а там французы держись! Светлейший грянет с одной стороны, граф Витгенштейн с другой, а мы со всех; да как воскликнем в один голос: *procul, o procul, profani*, то есть: вон отсюда, нечестивец! так Наполеон такого даст стрелка из Москвы, что его собаками не догонишь.

— Вряд ли он так скоро с нею расстанется.

— Помилуйте! он, чай, и сам не рад, что зашел так далеко: да теперь уж делать нечего. Верно, думает: авось пожалеют Москвы и станут мириться. Ведь он уж не в первый раз поддевает на эту штуку. На то, сударь, пошел: *aut Caesar, aut nihil* — или пан, или пропал. До сих пор ему удавалось, а как раз промахнется, так и поминай как звали!

— Итак, вы думаете, господин студент, что Наполеон играет теперь на выдержку?

— Хуже, сударь! Он уж проиграл, а теперь отыгрывается.

— Проиграл? Однако ж он дошел до Москвы.

— А дешево ли это ему стоило? Наши потери ничего: за одного убитого явятся десятеро живых; а он хочет не хочет, а последний рубль ставь на карту. Вот, года три тому назад — я не был еще тогда в риторике — во время рекреации двое студентов схватились при мне в горку. Надобно вам сказать, что у нас за столом только два блюда: говядина и каша. Один из студентов, спустив все деньги, стал играть на свою часть говядины и — проиграл! В отчаянии, терзаемый предчувствием постной трапезы, он воскликнул так же, как Наполеон: *aut Caesar, aut nihil!* и предложил играть — на кашу! На кашу, единственное блюдо, оставшееся для утоления его голода! Все товарищи ахнули, а у меня волосы стали дыбом, и тут я в первый раз постигнул, как люди проигрывают все свое состояние! К счастью, нас позвали обедать, и мой товарищ не успел довершить своего отчаянного предприятия. Поверьте мне, господин офицер, и Наполеон играет теперь на кашу. Если ему не посчастливится заключить мир — то горе окаянному! Все язвы, все казни египетские обрушатся на главу его! А коли удастся, так и то слава богу, когда при своем останется, ан и выйдет на поверку, что он: *magnus conatus magnas agit nugas*, то есть: ходил ни почто, принес ничего. Но нам должно прекратить нашу беседу, — продолжал семинарист. — Я пойду прямо на Свирлово, а вы извольте ехать вкось по роще, так минуете Алексеевское и выедете на большую дорогу у самого Ростюкина... Прощайте, господин офицер!.. *Cura, ut valeas!*.. (Берегитесь и будьте благополучны!.. (лат.)) Студент приподнял свою шляпу и, продолжая идти по дороге к Останкину, затянул опять: Воспойте, братцы, канту прелюбезну...

Пообедав и выкормя лошадей в больших Мытищах, Зарецкой отправился далее. Если б он был ученый или, по крайней мере, сентиментальный путешественник, то, верно бы, приостановился в селе Братовщине, чтоб взглянуть на некоторые остатки русской старины. Но наш гусарской ротмистр проехал весьма хладнокровно мимо ветхой церкви, построенной, вероятно, прежде царя Алексея Михайловича, и, взглянув нечаянно на одно полуразвалившееся здание, сказал: «Кой черт! что это за смешной амбар!..» — «Злодей! — вскричал бы какой-нибудь антикварий. — Вандал! да знаешь ли, что ты называешь амбаром царскую вышку, или терем, в котором православные русские цари отдыхали на пути своем в Троицкую лавру? Знаешь ли, что недавно была тут же другая царская вышка, гораздо просторнее и величественнее, и что благодаря преступному равнодушию людей, подобных тебе, не осталось и развалин на том месте, где она стояла? Варвары! (прошу заметить, это говорю не я, но все тот же любитель старины) варвары! вы не умели сберечь

даже и того, что пощадили Литва и татары! Куда девался великолепный Коломенский дворец? Где царские палаты в селе Алексеевском? Посмотрите, как все европейские народы дорожат остатками своей старины! Укажите мне хотя на один иностранный город,



где бы жители согласились продать на сломку какую-нибудь уродливую готическую башню или древние городские ворота? Нет! они гордятся сими драгоценными развалинами; они глядят на них с тем же почтением, с тою же любовью, с какою добрые дети смотрят на заросший травой могильный памятник своих родителей; а мы...» Тут господин антикварий, вероятно бы, замолчал, не находя слов для выражения своего душевного негодования; а мы вместо ответа пропели бы ему забавные куплеты насчет русской старины и, посматривая на какой-нибудь прелестный домик с цельными стеклами, построенный на самом том месте, где некогда стояли неуклюжие терема и толстые стены с зубцами, заговорили бы в один голос: «Как

это мило!.. Как свежо!.. Какая разница! О! наши предки были настоящие варвары!» Но меж тем, пока мы слушали горькие жалобы любителя русской старины, Зарецкой все ехал да ехал. Опустив поводья, он сидел задумчиво на своей лошади, которая шла спокойной и ровной ходою; мечтал о будущем, придумывал всевозможные средства к истреблению французской армии и вслед за бегущим неприятелем летел в Париж: пожить, повеселиться и забыть на время о любезном и скучном отечестве. В ту самую минуту, как он в модном фраке, с бадинкою (тросточкой (от фр. badine)) в руке, расхаживал под аркадами Пале-Рояля и прислушивался к милым французским фразам, загремел на грубом русском языке вопрос; «Кто едет?» Зарецкой очнулся, взглянул вокруг себя: перед ним деревенская околица, подле ворот соломенный шалаш в виде будки, в шалаше мужик с включенной рыжей бородою и длинной рогатиной в руке; а за околицей, перед большим сараем, с полдюжины пик в сошках.

— Кто едет? — повторил мужик, вылезая из шалаша.

— Да разве не видишь, что офицер? — сказал вахмистр. — Экой мужлан!

— Ан врешь! Я не мужик.

— Да кто же ты?

— Ополченный! — отвечал воин, поправив гордо свою шапку.

— Зачем же ты здесь? — спросил Зарецкой.

— Стою на часах, ваше благородие.

— Так что же ты зеваешь, дурачина? — закричал вахмистр. — Отворяй ворота!

— Без приказа не могу. Эй! выходи вон!

Человек шесть мужиков выскочили из сарая, схватили пики и стали по ранжиру вдоль стены; вслед за ними вышел молодой малой в казачьем сером полукафтаны, такой же фуражке и с тесаком, повешенным через плечо на широком черном ремне. Подойдя к Зарецкому, он спросил очень вежливо: кто они откуда едет?

— А на что тебе, голубчик? — сказал Зарецкой. — И кто ты сам такой?

— Урядник, ваше благородие!

— А какое тебе дело, господин урядник, кто я и куда еду?

— Здесь стоит полк московского ополчения, ваше благородие, и полковник приказал, чтоб всех проезжих из Москвы, а особливо военных, провожать прямо к нему.

— Вот еще какие затеи! Да разве здесь крепость и ваш полковник комендант?

— Не могу знать, ваше благородие! а так велено. Полковник сейчас изволил приказывать...

— Большая мне нужда до его приказания! Ополченный полковник!.. Отворяй ворота!

— Да ведь он просит, ваше благородие, заехать к нему в гости.

— А если я не хочу быть его гостем?.. Да кто такой ваш полковник?

— Николай Степанович Ижорской.

— Ижорской?.. Мне что-то знакома эта фамилия...

Кажется, я слышал от Владимира... Не родня ли он Лидиной?..

— Прасковье Степановне?.. Родной братец.

— Вот это другое дело... Так я могу от него узнать, далеко от ли отсюда деревня Владимира Сергеевича Рославлева.

— Да не близко, ваше благородие! Ведь она по Калужской дороге.

— Ну, так и есть: я знал вперед, что ошибусь!.. Отворяй ворота и проводи меня к своему полковнику.

— Я, сударь, на карауле и отлучиться не могу; я пошлю с вами ефрейтора. Эй, ребята! лучшей команду!.. В сошки!

Воины положили в сошки свои пики и повернулись, чтоб идти в сарай.

— Гаврило! — продолжал урядник, — проводи господина офицера к полковнику.

— К барину? — спросил молодой крестьянской парень.

— Ну да! то есть к его высокоблагородию, дурачина!

— Слушаю-ста! А пику-то оставить, что ль, или нет?

Урядник призадумался.

— Ефрейторы всегда ходят с ружьями, — сказал, улыбаясь, Зарецкой.

— Ну, что стал? возьми пику с собой! — закричал урядник, — да смотри не дразни по улицам собак. Ступай!

Воин, положив пику на плечо, отправился впереди наших путешественников по длинной и широкой улице, в конце которой, перед одной избой, сверкали копыя и толпилось много народа.

ГЛАВА II

В белой и просторной избе сельского старосты за широким столом, на котором кипел самовар и стояло несколько бутылок с ромом, сидели старинные наши знакомцы: Николай Степанович Ижорской, Ильменев и Ладушкин. Первый в общеармейском сюртуке с штаб-офицерскими эполетами, а оба другие в серых ополченных полукафтаньях. Ильменев, туго подтянутый шарфом, в черном галстуке, с нафабранными усами и вытянутый, как струнка, казалось, помолодел десятью годами; но несчастный Ладушкин, привыкший ходить в плисовых сапогах и просторном фризвом сюртуке, изнемогал под тяжестью своего воинского наряда: он едва смел пошевелиться и посматривал то на огромную саблю, к которой был прицеплен, то на длинные шпоры, которые своим непрерывным звоном напоминали ему, что он выбран в полковые адъютанты и должен ездить верхом.

— Что это Терешка не едет? — сказал Ижорской. — Волгин обещался прислать его непременно сегодня.

— Да куда, сударь, — спросил Ильменев, — поехал наш бывший предводитель, Михаила Федорович Волгин?..

— А теперь мой пятисотенный начальник? — подхватил с гордостью Ижорской. — Я послал его в Москву поразведать, что там делается, и отправил с ним моего Терешку с тем, что если он пробудет в Москве до завтра, то прислал бы его сегодня ко мне с какими-нибудь известиями. Но поговоримте теперь о делах службы, господа! — продолжал полковник, переменяв совершенно тон. — Господин полковой казначей! прибавляется ли наша казна?

— Слава богу, ваше высокоблагородие! — отвечал Ильменев, вскочив проворно со скамьи. — Сегодня поутру прислали к нам из города, взамен недоставленной амуниции, пятьсот тридцать три рубля двадцать две копейки.

— А что ж сегодняшней приказ, господин полковой адъютант?

— Готов, Николай Степанович, — сказал Ладушкин, вставая.

— Смотри, смотри, братец!.. опять зацепил шпорами... Ну! вот тебе и раз!.. Да подними его, Ильменев! Видишь, он справиться не может.

— О, господи боже мой!.. — сказал Ладушкин, вставая при помощи Ильменева, — в пятой раз сегодня! Да позвольте мне, Николай Степанович, не носить этих проклятых зацеп.

— Что ты, братец! где видано? Адъютант без шпор! Да это курам будет на смех. Привыкнешь!

— Так нельзя ли меня совсем из адъютантов-то прочь, батюшка?

— Оно, конечно, какой ты адъютант! Тут надобен провор. Вот дело другое — Ильменев: он человек военной; да грамоте-то мы с ним плохо знаем. Ну, что ж приказ?

— Вот, сударь, готов; извольте прочесть.

— Давай!.. Пароль... лозунг... отзыв... Хорошо! Что это?.. «Воина третьей сотни Ивана Лосева за злостное похищение одного индейского петуха и двух поросят выколотить завтрашнего числа перед фрунтом палками». Дело! «Господин полковой командир изъявляет свою совершенную признательность господину пятисотенному начальнику Буркину...»

— За что?

— За найденный вами порядок и примерное устройство находящихся под командою его пяти сотен.

— Да, да! совсем забыл: ведь я назначил сегодня смотр; но надобно прежде взглянуть, а там уж сказать спасибо.

— Он с полчаса дожидается, — сказал Ильменев. — Извольте-ка взглянуть в окно; посмотрите, как он на своем Султане гарцует перед фрунтом.

— Пойдемте же, господа! Гей, Заливной! саблю, фуражку!

Ижорской, прицепя саблю, вышел в провожании адъютанта и казначея за ворота. Человек до пятисот воинов с копьями, выстроенные в три шеренги, стояли вдоль улицы; все офицеры находились при своих местах, а Буркин на лихом персидском жеребце рисовался перед фрунтом.

— Смирно! — кричал он, увидя выходящего из ворот полковника.

— Хорошо! — сказал Ижорской важным голосом. — Фрунт выровнен, стоят по ранжиру... хорошо!

— Слушай! — заревел Буркин. — Шапки долой!

— Хорошо! — повторил Ижорской, — все в один темп, по команде... очень хорошо!

— Господин полковник! — продолжал Буркин, подскакав к Ижорскому и опустив свою

саблю.

— Тише, братец, тише! Что ты? задавишь!

— Господин полковник!..

— Да черт тебя возьми! Что ты на меня лезешь?

— Честь имею рапортовать, что при команде со. стоит все благополучно: двое рядовых занемогли, один урядник умер...

— Хорошо, очень хорошо!.. Да осадил свою лошадь, братец!.. Э! постой! Кто это едет на паре? Никак, Терешка? Так и есть! Ну что, брат, где Волгин?

— Изволил остаться в Москве, — отвечал слуга, спрыгнув с телеги, которая остановилась против избы.

— А скоро ли будет назад?

— Не могу доложить. Он послал меня вчера еще вечером; да помеха сделалась.

— Что такое?

— У самого Ростоккина выпрягли у меня лошадей, говорят, будто под казенные обозы — не могу сказать. Кой-как сегодня, и то уже после обеда, нанял эту пару, да что за клячи, сударь! насилу дотащился!

— Ну, что слышно нового?

— Николай Степанович! — сказал Ладушкин, — позвольте доложить: здесь не место...

— Да, да! в самом деле! Господин пятисотенный начальник! извольте распустить вашу команду да милости прошу ко мне на чашку чаю; а ты ступай за нами в избу.

— Слушай! — заревел опять Буркин. — Шапки надевай! Господа офицеры! разводите ваши сотни по домам. Тише, ребята, тише! не шуметь! смирно!

Через несколько минут изба, занимаемая Ижорским, наполнилась ополченными офицерами; вместе с Буркиным пришли почти все сотенные начальники, засели вокруг стола, и господин полковник, подзвав Терешку, повторил свой вопрос:

— Ну что, братец, что слышно нового?

— Да что, сударь! говорят, французы идут прямо на Москву.

— А где наши войска?

— Не могу доложить.

— Неужели в самом деле, — закричал Буркин, — Москвы отстаивать не будут и сдадут без боя?.. Без боя!.. Ну как это может быть?

— Эх, батюшка Григорий Павлович! — перервал Ладушкин, — было бы чем отстаивать, и когда уж все говорят...

— Ан вздор, не все! Вчера какой-то бедный прохожий меня порадовал. Он сказал мне, что ведено всему нашему войску собраться к Трем горам.

— И вы, сударь, ему поверили? — спросил насмешливо Ладушкин.

— И поверил, и на водку дал.

— Чай, двугривенный или четвертак? Ведь вы человек тороватый!

— Нет, на ту пору у меня мелочи не случилось.

— Что ж вы ему дали? Уж не целковый ли?

— Нет, братец! я дал ему синенькую — да еще какую! с иголки, так в руке и хрустит! Эх! подумал я, была не была! На, брат, выпей за здоровье московского ополчения да помолись богу, чтоб мы без работы не остались.

«Пять рублей! — повторил про себя Ладушкин. — Ну, подлинно: глупому сыну не в помощь богатство!»

— И в Москве об этом народ толкует, — сказал слуга. — Да вот я привез с собой афишку, которую вчера по городу разносили.

— Что ж ты, братец! — закричал Ижорской, — давай сюда!.. Пстой-ка! подписано: граф Растопчин. Господин адъютант! — продолжал он, — извольте прочесть ее во услышание всем!

Ладушкин взял афишу, напечатанную на небольшой четвертке, и начал читать следующее:

— «Братцы, сила наша многочисленна и готова положить живот, защищая отечество. Не пустим злодея в Москву; но должно пособить и нам свое дело сделать. Грех тяжкой своих выдавать! Москва — наша мать; она вас поила, кормила и богатила. Я вас призываю именем божией матери на защиту храмов господних, Москвы, земли русской. Вооружитесь кто чем может — и конные и пешие; возьмите только на три дня хлеба, идите со крестом. Возьмите хоругви из церквей и с сим знаменем сбирайтесь тотчас на Трех горах. Я буду с вами, и вместе истребим злодея. Слава в вышних — кто не отстанет! вечная память — кто мертвый ляжет! горе на Страшном суде — кто отговариваться станет!»

— Ну, вот! — вскричал Буркни, — ведь прохожий-то правду говорил. Эх, жаль, что я не дал ему красненькой.

— Однако ж, — заметил Ильменев, — в этом листке о московском ополчении ни слова не сказано.

— Да неужто ты думаешь, — возразил Буркни, — что когда другие полки нашего ополчения присоединены к армии, мы станем здесь сидеть, поджавши руки?

— Прикажут, так и мы пойдем, — сказал Ижорской.

— А без приказа соваться не надобно, — примолвил Ладушкин.

— Дай-то господи, чтоб приказали! — продолжал Буркин. — Что, господа офицеры, неужели и вас охота не забирает подраться с этими супостатами? Да нет! по глазам вижу, вы все готовы умереть за матушку-Москву, и, уж верно, из вас никто назад не попятится?

— Назад? что вы, Григорий Павлович? — сказал один, вершков двенадцати, широкоплечий сотенный начальник. — Нет, батюшка! не за тем пошли. Да я своей рукой зарежу того, кто шаг назад сделает.

— Слышишь, брат Ладушкин? — сказал Буркин, — а с ним шутки-то плохие: ведь он один на медведя ходит.

— Оно так, сударь! — возразил Ладушкин, — да если б у нас хоть ружья-то были!

— А слышал ли ты, брат, — перервал Буркин, — поговорку нашего славного Суворова: пуля дура, а штык молодец.

— Да где у нас штыки-то?

— Вот еще что? А чем рогатина хуже штыка?

— И, конечно, не хуже, — подхватил сотенный начальник. — Бывало,хватишь медведя под лопатку, так и он долго не навертится; а какой-нибудь поджарый француз...

— Постойте-ка, господа! — сказал Ижорской, — никак, гость к нам едет. Так и есть — гусарской офицер! Ильменев! ступай, проси его.

— Ох, мне эти кавалеристы! — сказал вполголоса Ладушкин. — В грош не ставят нашего брата.

— Да есть тот грех, — примолвил сотенный начальник. — Они нас и за военных-то не считают.

— А вы бы, господа, по-моему, — сказал Буркин. — Если от меня кто рыло воротит, так и я на него не смотрю. Велика фигура — гусарской офицер!.. Послушай-ка, Ладушкин, — продолжал Буркин, поправляя свой галстук, — подтяни, брат, портупею-то: видишь, у тебя сабля совсем по земле волочится.

— Милости просим, батюшка! — сказал Ижорской, встречая Зарецкого, который, войдя в избу, поклонился вежливо всему обществу, — милости просим! Не прикажете ли водки? не угодно ли чаю или стаканчик пуншу? Да, прошу покорно садиться. Подвинься-ка, Григорий Павлович.

— Покорно вас благодарю, — сказал Зарецкой, сядясь в передний угол между Ижорского и Буркина, — я выпью охотно стакан пуншу.

— Вот это по-нашему, по-военному, господин офицер! — сказал Буркин. — Что за питье чай без рома! А ром знатный — рекомендую, настоящий ямайской!

— Мне, право, совестно, — сказал Зарецкой, заметив, что одному офицеру не осталось места на скамье, — не стеснил ли я вас, господа?

— Помилуйте! — подхватил Буркин, — кому есть место, тот посидит; кому нет — постоит. Ведь мы все народ военный, а меж военными что за счеты! Не так ли, товарищ? — продолжал он, обращаясь к колоссальному сотенному начальнику, который молча закручивал свои густые усы.

— Разумеется, Григорий Павлович, мы люди военные. Дело походное, а в походе и с незнакомым человеком живешь подчас как с однокорытником; что тут за вычурь! Не так ли, господин адъютант?

— Конечно, конечно, господин капитан. — Позвольте мне рекомендовать вам, — сказал Ижорской. — Это все офицеры моего полка: а это господин Буркин, мой пятисотенный... то есть мой батальонный командир.

— Очень рад, что имею удовольствие познакомиться... А ром у вас в самом деле славный!

— Как не быть порядочного рома, — сказал Ижорской, — у нашего брата — не бедного помещика...

— И полкового командира, — прибавил Буркин.

— Позвольте спросить, — продолжал Ижорской, — я вижу, вы ранены: где это вас прихватило?

— Под Бородиным.

— А теперь откуда изволите ехать?

— Из Москвы.

— Ну что, батюшка, — собирается ли там войско на Воробьевых горах?

— Что слышно? — сказал Буркин, — на каком фланге будет стоять московское ополчение?

— Поближе бы только к французам, — примолвил сотенный начальник.

— Не оставят ли его в резерве? — спросил Ладушкин.

— Я этого ничего не знаю, господа; напротив, кажется, под Москвою вовсе не будет сражения.

— Что вы! — закричал Буркин, — так вы поэтому не видели московской афиши? Вот она, прочтите-ка!

— Странно! — сказал Зарецкой, прочтя прокламацию московского генерал-губернатора.

— Судя по этому, должно думать, что под Москвою будет генеральное сражение; и если б я знал это наверное, то непременно бы воротился; но, кажется, движения наших войск доказывают совершенно противное.

— Это какая-нибудь военная хитрость, — сказал Ижорской.

— Верно! — заревел Буркин. — Знаете ли что? Москва-то приманка. Светлейший хочет заманить в нее Наполеона, как волка в западню. Лишь он подойдет к Москве, так народ

высыпет к нему навстречу, армия нахлынет сзади, мы нагрянем с попереку, да как начнем его со щеки на щеку...

— *Sacristie quelle omelette!* (Черт возьми, какой ералаш! (фр.)) — вскричал, захохотав во все горло, Зарецкой.

— Что это, брат? — шепнул Буркин сотенному начальнику, — по-каковски он это заговорил?

— Уж не француз ли он? — сказал великан, взглянув исподлобья на Зарецкого. — Чего доброго: у него и ухватки-то все нерусские.

— Нет, братец! верно, какой-нибудь матушкин сынок и вырос на французском языке; ведь эти кавалеристы народ всё модный — с вычурами.

— Позвольте вас спросить, полковник! — сказал Зарецкой, — вы родня госпоже Лидиной?

Ижорской покраснел, смутился и повторил с приметным беспокойством:

— Лидиной? то есть Прасковье Степановне?..

— Кажется, так. — Да, что греха таить! я был с нею когда-то родня... А на что вам?.. Неужели и до вас слух дошел?..

— О чем?..

— Так, так, ничего! Да разве вы с ней знакомы?

— Нет, я не имею этой чести; но искренний друг мой, Владимир Сергеевич Рославлев...

— Рославлев? Так вы с ним знакомы? Бедняжка!..

— Что такое? неужели его рана...

— А разве он ранен?..

— Да, ранен и лечится теперь у своей невесты.

— У своей невесты! — повторил Ижорской вполголоса.

— Нет, батюшка, у него теперь нет невесты.

— Что вы говорите? Его Полина умерла?

— Хуже. Если б она умерла, то я отслужил бы не панихиду, а благодарственный молебен; слезинки бы не выронил над ее могилою. А я любил ее! — прибавил Ижорской растроганным голосом, — да, я любил ее, как родную дочь!

— Боже мой, что ж такое с нею сделалось?

— Она, то есть племянница моя... Нет, батюшка! язык не повернется выговорить.

— Эх, Николай Степанович! — сказал Буркини, — шило в мешке не утаишь. Что делать? грех такой. Вот извольте видеть, господин офицер, старшая дочь Прасковьи Степановны Лидиной, невеста вашего приятеля Рославлева, вышла замуж за французского пленного

офицера.

— Возможно ли?

— Говорят, что этот француз полковник и граф. Да если б он был и маркграф какой, так срамота-то все не меньше. Господи боже мой! Француз, кровопийца наш!.. Что и говорить! стыд и бесчестье всей нашей губернии!

— Граф? — повторил Зарецкой. — Так точно, это тот французской полковник, которого я избавил от смерти, которого сам Рославлев прислал в дом к своей невесте... Итак, есть какая-то непостижимая судьба!..

— Судьба! — перервал Ижорской. — Какая судьба для таких неповитых дур, как моя сестрица... то есть бывшая сестра моя... Она сама лучше злодейки-судьбы придумает всякую пакость. Вчера только я получил об этом известие. Поверите ль? как обухом по лбу! Я было хотел скакать сам в деревню и познакомиться с новой моей роденькою; да сегодня дошли до нас слухи, будто в той стороне показались французы. Может быть, теперь они уж выручили его из плена. Пусть он увезет с собою свою графиню и тещу — черт с ними! Жаль только бедной Оленьки. Сердечная, за что гибнет вместе с ними! Да во что б ни стало, если ее сиятельство с своей маменькой потащат Оленьку во Францию, так я выйду на большую дорогу, как разбойник, и отобью у них мою племянницу и единственную наследницу всего моего имения.

— Позвольте спросить, Николай Степанович! — сказал Ладушкин, — от кого вы изволили слышать, что французы в наших местах? Это не может быть!

— А почему не может быть?

— Если они идут к Москве, так на что ж им сворачивать на Калужскую дорогу? Кажется, с большой Смоленской дороги сбиться трудно; а на всякой случай неужели-то они и проводника не найдут?

— Эх, братец! не в том дело, что они идут или нейдут по Калужской дороге...

— Нет, сударь, в этом-то и дело! Да, воля ваша, им тут и следа нет идти. Шутка ли, какой крюк они сделают!

— Да что ты так об них хлопчешь, братец?

— Помилуйте, Николай Степанович! ведь моя деревушка почти на самой Калужской дороге.

— Так вот что! — вскричал Буркин. — Ах ты жидомор! по тебе, пусть французы берут Москву, лишь только бы твое Щелкоперово осталось цело.

— Что ж делать, Григорий Павлович! своя рубашка к телу ближе. Ну, рассудите сами...

— Да мне-то разве легче? Мы с тобой соседи: если твою деревню сожгут, так и моей не миновать того же; а разве я плачу?

— Ведь вы человек богатый.

— А ты, чай, убогой? Полно, братец! душ у тебя много, да душонки-то нет.

— Перестаньте, господа! — сказал Ижорской. — Что вы? Мы знаем, что вы всегда шутите друг с другом; но ведь наш гость может подумать...

— И, что вы? — перервал Зарецкой, — мы все здесь народ военный — не правда ли?

— Конечно, конечно!

— А между товарищами какие церемонии? Что на душе, то и на языке. Но позвольте вас спросить, где же теперь приятель мой Рославлев?

— Я слышал, что он уехал в Москву.

— Да и теперь еще там, сударь! — сказал лакей Ижорского, Терентий, который в продолжение этого разговора стоял у дверей, — Я встретил в Москве его слугу Егора; он сказывал, что Владимир Сергеич болен горячкою и живет у Серпуховских ворот в доме какого-то купца Сезёмова.

— Боже мой! — вскричал Зарецкой. — Владимир болен, а может быть, сегодня французы будут в Москве!

— В Москве? — повторил Ижорской, — но ведь ее не отдадут без боя, а мы еще покамест не дрались.

— И бог милостив! — прибавил Буркин, — авось отстоим нашу матушку.

— Чу! колокольчик! — сказал Ильменев, выглянув в окно. — Кто-то скачет по улице! Никак, Михаила Федорович?

— Волгин? — спросил Ижорской, привставая с скамьи. — Он и есть! Ну, верно, не жалел лошадок: эх он их упарил!

Волгин, в форменном мундирном сюртуке, сверх которого была надета темного цвета шинель, вошел поспешно в избу.

— Ну что, Михаила Федорович? — спросил Ижорской.

— Не торопитесь, скажу! — отвечал глухим голосом Волгин.

— Да говори, что нового?

— Что нового? Замоскворечье горит, и как я выехал за заставу, то запылал Каретный ряд.

— Что это значит?

— Что, братцы! — вскричал Волгин, бросив на пол свою фуражку, — нам осталось умереть — и больше ничего!

— Как? что такое?

— Москва сдана без боя — французы в Кремле!

— В Кремле! — повторили все в один голос. С полминуты продолжалось мертвое молчание: слезы катились по бледным щекам Ижорского; Ильменев рыдал, как ребенок.

— Кормилица ты наша! — завопил наконец, всхлипывая, Буркин, — и умереть-то нам не удалось за тебя, родимая!

— Несчастливая Москва! — сказал Ижорской, утирая текущие из глаз слезы.

— Бедный Рославлев! — примолвил Зарецкой с глубоким вздохом.

ГЛАВА III

— Бабушка, а бабушка!.. что это так воет на улице?

— Спи, дитячко, спи! это гудит ветер.

— Бабушка! мне что-то не спится.

— Сотвори молитву, родимый! да повернись на другой бок, авось и заснешь.

Так разговаривали в низенькой избушке, часу в 12-м ночи, внук лет десяти с своей старой бабушкой, подле которой он лежал на полатах.

— Бабушка! — закричал опять мальчик, приподнявшись до половины, — что это так рано нынче светает?

— Что ты, батюшка! Христос с тобою!.. Куда светать, и петухи еще не пели.

— Постой-ка! — продолжал мальчик, слезая с полатей, — я погляжу в окно... Ну как же, бабушка? на улице светлехонько... Вон и старостин колодезь видно.

— Что за притча такая? — сказала старуха, подходя также к окну.

— Мати пресвятая богородица! — вскричала она, всплеснув руками.

— Ах, дитячко, дитячко! ведь это горит наша матушка-Москва!

— Смотри-ка, бабушка! — закричал мальчик, — эка зарево!.. Словно как ономясь горел наш овин — так и пышет!

В эту самую минуту кто-то постучался у окна.

— Кто там? — спросила старуха.

— Эй, тетка! — раздался мужской голос, — отвори ворота.

— Да кто ты?

— Проезжие.

— Я постояльцев не пускаю.

— Дапусти только обогреться; мы тебе за тепло заплатим.

— Впусти, бабушка, — сказал мальчик, — авось они нам что-нибудь дадут, а ты мне калач купишь.

— Эх, дитячко! ведь мы одни-одинехоньки; ну если это недобрые люди? Правда, у нас и взять-то нечего...

— Эй, хозяйка! — закричал опять проезжий, — дапусти нас: мы дадим тебе двугривенный.

— Слышишь, бабушка?..

— Ну ин ступай, Ваня, отвори ворота. Мальчик накинул на себя тулуп и побежал на двор, а старуха вздула огня и зажгла небольшой сальный огарок, вставленный в глиняный подсвечник.

— Через минуту вошел в избу мужчина среднего роста, в подпоясанном кушаком сюртуке из толстого сукна и плохом кожаном картузе, а вслед за ним казак в полном вооружении.

— Здравствуй, хозяйка! — сказал проезжий, не снимая картуза. — Ну, что, далеко ль отсюда до Москвы?

— Верст десять будет, батюшка! — отвечала старуха, поглядывая подозрительно на проезжего, который, войдя в избу, не перекрестился на передний угол и стоял в шапке перед иконами.

— Десять верст! — повторил проезжий. — Теперь, я думаю, можно своротить в сторону. Миронов! — продолжал он, обращаясь к казаку, — поставь лошадей под навес да поищи сенца, а я немного отдохну.

Когда казак вышел из избы, проезжий скинул с себя сюртук и остался в коротком зеленом спензере с золотыми погончиками и с черным воротником; потом, вынув из бокового кармана рожок с порохом, пару небольших пистолетов, осмотрел со вниманием их затравки и подсыпал на полки нового пороха. Помолчав несколько времени, он спросил хозяйку, нет ли у них в деревне французов.

— Нет, батюшка! — отвечала старуха, — покамест бог еще миловал.

— А поблизости?

— Не ведаю, кормилец!

— Что, тетка, далеко ли от вашей деревни Владимирская дорога?

— Не знаю, родимый.

— Да что ты ничего не знаешь?

— И, батюшка! мое дело бабье; вот кабы сынок мой был дома...

— А где же он?

— Вечор еще уехал на мельницу, да, видно, все в очередь не попадет; а пора бы вернуться. Постой-ка, батюшка, кажись, кто-то едет по улице!.. Уж не он ли?.. Нет, какие-то верховые... никак, солдаты!.. Уж не французы ли?.. Избави господи!

— А много ли их? — спросил проезжий, вскочив торопливо со скамьи.

— Только двое, батюшка!

— Только? — повторил спокойным голосом проезжий, садясь опять на скамью и придвинув к себе пистолеты.

— Вот они остановились против наших ворот; видно, огонек-то увидели...стучатся!..Кто там? — продолжала старуха, выглянув из окна.

— Русской офицер! — отвечал грубый голос. — Отворяй ворота, лебедка! Да поворачивайся проворней.

— Что, батюшка, впустить, что ль? Проезжий в знак согласия кивнул головою.

— Ваня! — продолжала хозяйка, — беги отопри опять ворота.

— Ах, как я иззяб! — сказал наш старинный знакомец Зарецкой, входя в избу.

— Какой ветер!.

— Тут он увидел проезжего и, поклонясь ему, продолжал:

— Вы также, видно, завернули погреться?

— Да! — отвечал проезжий.

— Но я советую вам не скидать шинели: в этой избенке изо всех углов дует. Я вижу, что и мне надобно опять закутаться, — примолвил он, надевая снова свой толстый сюртук и подпоясываясь кушаком.

Зарецкой поглядел с удивлением на чудный наряд проезжего, которого по спензеру с золотыми погончиками принял сначала за офицера.

— Вам кажется странным мой наряд? — сказал с улыбкою проезжий.

— А если б вы знали, как он подчас может пригодиться!..

— Извините! — перервал Зарецкой, продолжая смотреть с любопытством на проезжего, — или я очень ошибаюсь, или я не в первый уже раз имею удовольствие вас видеть: не могу только никак припомнить...

— Так, видно, моя память лучше вашей. Несколько месяцев назад, в Петербурге, я обедал вместе с вами в ресторации...

— Френзеля? Точно! теперь вспомнил. Так вы тот самой артиллерийской офицер...

— К вашим услугам.

— Мне помнится, вы поссорились тогда с каким-то французом...

— Да. Если б этот молодец попался мне теперь, то я просто и не сердясь велел бы его повесить; а тогда нечего было делать: надобно было ссориться... Да, кстати! вы были в ресторации вместе с вашим приятелем, с которым после я несколько раз встречался, — где он теперь?

— Кто? бедный Рославлев?

— А что? я знаю, он ранен; но, кажется, не опасно?

— Представьте себе: он поехал лечиться в Москву...

— И попался в плен? Вольно ж было меня не послушаться.

— Я слышал, что он очень болен и живет теперь в доме какого-то купца Сезёмова.

— Жаль, что я не знал об этом несколько часов назад, а то, верно бы, навестил вашего приятеля.

— Как! — вскричал Зарецкой, — да разве вы были в Москве?

— Я сейчас оттуда.

— Так поэтому можно?..

— Да разве есть что-нибудь невозможного для военного человека? Конечно, если догадаются, что вы не то, чем хотите казаться, так вас, без всякого суда, расстреляют. Впрочем, этого бояться нечего: надобно только быть сметливу, не терять головы и уметь пользоваться всяким удобным случаем.

— Но скажите, что вам вздумалось и для чего хотели вы подвергать себя такой опасности?

— Во-первых, для того, чтоб видеть своими глазами, что делается в Москве, а во-вторых... как бы вам сказать?.. Позвольте, вы кавалерист, так, верно, меня поймете. Случалось ли вам без всякой надобности перескакивать через барьер, который почти вдвое выше обыкновенного, несмотря на то что вы могли себе сломить шею?

— Случалось.

— Не правда ли, что, сделав удачно этот трудный и опасный скачок, вы чувствовали какое-то душевное наслаждение, проистекающее от внутреннего сознания в ваших силах и искусстве? Ну вот точно такое же чувство заставляет и меня вдаваться во всякую опасность, а сверх того, смешаться с толпою своих неприятелей, ходить вместе с ними, подслушивать их разговоры, услышать, может быть, имя свое, произносимое то с похвалою, то осыпаемое проклятиями... О! это такое наслаждение, от которого я ни за что не откажусь. Но позвольте теперь и мне вас спросить: куда вы едете?

— А бог знает: я отыскиваю свой полк.

— И, верно, вам хорошо знакомы все здешние проселочные дороги и тропинки?

— Ну, этим я не могу похвастаться.

— Так позвольте вас поздравить: вы очень счастливы, что до сих пор не попались в руки к французам.

— В самом деле, вы думаете?..

— Не думаю, а уверен, что вам этой беды никак не миновать, если вы станете продолжать отыскивать ваш полк. Кругом всей Москвы рассыпаны французы; я сам должен был выехать из города не в ту заставу, в которую въехал, и сделать пребольшой крюк, чтоб не повстречаться с их разъездами.

— Да что же мне делать? Неужели я должен уехать в Рязань или Владимир и оставаться в числе больных, когда чувствую, что моя рана не мешает мне драться с французами и что она без всякого лечения в несколько дней совершенно заживет?

— О, если вы желаете только драться с французами, то я могу вас этим каждый день угощать. Не хотите ли на время сделаться моим товарищем?

— Вашим товарищем?

— Да! Мой летучий отряд стоит по Владимирской дороге, перстах в десяти отсюда. Не угодно ли деньков пять или шесть покочевать вместе со мною?

— Очень рад... Итак, вы один из наших партизанов?..

— И самый юнейший из моих братьев, — отвечал с улыбкою проезжий.

— То есть чином?.. Поэтому вы...

— И, полноте! Вы видите, что я в маскарадном платье, а масок по именам не называют. Что ты, Миронов? — продолжал офицер, увидя входящего казака.

— А вот, ваше благородие, — сказал казак, — принес кису. Не угодно ли чего покушать?

— Дело, братец! Вынь-ка из нее для себя полштофа водки, а для нас бутылку шампанского и кусок сыра. Да смотри не выпей всего полуштофа: мы сейчас отправимся в дорогу.

— А чтоб он вернее исполнил ваше приказание, — прибавил Зарецкой, — так велите ему поделиться с моим вахмистром.

— Слышишь, братец!

— Слышу, ваше благородие! Да я так и думал.

— Полно, так ли? Вы, казаки, дележа не любите. Ну, ступай! Хозяйка! подай-ка нам два стакана; да, чай, хлебец у тебя водится?

— Как не быть, кормилец! — отвечала с низким поклоном старуха.

— Милости просим, покушайте на здоровье! — продолжала она, положила на стол большой каравай хлеба и подавая им два деревянные расписные стакана.

— Ну что? — спросил Зарецкой, выпив первый стакан шампанского и наливая себе другой, — что делается теперь в Москве?

— Разве вы отсюда не видите?

— Вижу: она горит; но вы были сейчас на самом месте...

— И, признаюсь, порадовался от всей души! Дела идет славно: город подожгли со всех четырех концов, а деревянные дома горят, как стружки. Еще денек или два, так в Москве не останется ни кола ни двора. И что за великолепная картина — прелесть! В одном углу из огромных каменных палат пышет пламя, как из Везувия; в другом какой-нибудь сальный завод горит как свеча; тут, над питейным домом, подымается пирамидою голубой

огонь; там пылает целая улица; ну словом, это такая чертовская иллюминация, что любо-дорого посмотреть.

— Это ужасно! — сказал с невольным содроганием Зарецкой.

— А что за суматоха идет по улицам! Умора, да и только. Французы, как угорелые кошки, бросаются из угла в угол. Они от огня, а он за ними; примутся тушить в одном месте, а в двадцати вспыхнет! Да, правда, и тушить-то нечем: ни одной трубы в городе не осталось.

— Так поэтому не французы зажгли Москву?

— Помилуйте! Да что им за прибыль жечь город, в котором они хотели отдохнуть и повеселиться!

— Итак, сами обыватели?..

— Разумеется. Как будто бы вы не знаете русского человека: гори все огнем, лишь только злодеям в руки не доставайся.

— Да, это характеристическая черта нашего народа, и надобно сказать правду, в этом есть что-то великое, возвышающее душу...

— Не знаю, возвышает ли это душу, — перервал с улыбкою артиллерийской офицер, — но на всякой случай я уверен, что это поунизит гордость всемирных победителей и, что всего лучше, заставит русских ненавидеть французов еще более. Посмотрите, как народ примется их душить! Они, дискать, злодеи, сожгли матушку-Москву! А правда ли это или нет, какое нам до этого дело? Лишь только бы их резали.

— Оно, если хотите, несколько и справедливо. Если бы французы не пришли в Москву...

— Так мы бы и жечь ее не стали — натурально!

— Однако ж согласитесь: это ужасное бедствие! Я не говорю ни слова о тех, которые могли выехать из Москвы: они разорились, и больше ничего; но больные, неимущие? Все те, которые должны были остаться?..

— Да много ли их?

— Согласен — немного; по разве от этого они менее достойны сожаления? Когда подумаешь, что целые семейства, лишённые всего необходимого, без куска хлеба...

— И, что за дело! Лишь только бы и французам нечего было есть.

— Без всякой помощи, без крова...

— Так что ж? пусть живут под открытым небом — лишь только бы французам не было приюта.

— И теперь ночи холодны; а что будет с ними, если наступит ранняя зима?

— Что будет? тут и спрашивать нечего: они станут мерзнуть по улицам; да зато и французам не будет тепло — не беспокойтесь!

— Но признайтесь, однако ж, что человечество...

— И, полноте! — перервал с ужасной улыбкою артиллерийской офицер, — человечество, человеколюбие, сострадание — все эти сантиментальные добродетели никуда не годятся в нашем ремесле.

— Как? — вскричал Зарецкой, — неужели военный человек не должен иметь никакого сострадания?

— Спросите-ка об этом у Наполеона. Далеко бы он ушел с вашим человеколюбием! Например, если бы он, как человек великодушный, не покинул своих французов в Египте, то, верно, не был бы теперь императором; если б не расстрелял герцога Ангиенского...

— То не заслужил бы проклятий всей Европы! — перервал с негодованием Зарецкой.

— Может быть; да зато не уверил бы Бурбонов, что Франция для них заперта навеки. Признаюсь, — продолжал почти с восторгом артиллерийской офицер, — я не могу не удивляться этому человеку! Какая непоколебимая твердость! Какое презрение ко всему роду человеческому! Как ничтожна в глазах его жизнь целых поколений! С каким равнодушием, как ничем не умолимая судьба, он выбирает свои жертвы и как смеется над бессильным ропотом народов, лежащих у ног его! О! надобно сказать правду, Наполеон великой человек! Да, да! — прибавил артиллерийской офицер, — говорите, что вам угодно; а по-моему, тот, кто сказал, что может истрачивать по несколько тысяч человек в сутки, — рожден, чтоб повелевать миллионами. Однако ж допивайте ваш стакан: нам пора ехать.

— Ну! — сказал Зарецкой, вставая, — вы мастерски хвалите. Самый злейший враг Наполеона не придумал бы для него брани, обиднее вашей похвалы. Артиллерийской офицер улыбнулся и не отвечал ни слова. Минут через пять наши офицеры, соблюдая все военные осторожности, выехали из деревни. Впереди, вместо авангарда, ехал казак; за ним оба офицера; а позади, шагах в двадцати от них, уланской вахмистр представлял в единственном лице своем то, что предки наши называли сторожевым полком, а мы зовем арьергардом. Почти у самой околицы, поворотив направо по проселочной дороге, они въехали в частый березовый лес. Порывистый ветер колебал деревья и, как дикой зверь, ревел по лесу; направо густые облака, освещенные пожаром Москвы, которого не видно было за деревьями, текли, как поток раскаленной лавы, по темной синеве полуночных небес. Путешественники молчали. Зарецкой давно уже примечал, что дорога, или, лучше сказать, тропинка, по которой они ехали, подавалась приметным образом направо, следовательно, приближала их к Москве.

— Туда ли мы едем? — спросил он наконец своего молчаливого товарища.

— Не беспокойтесь! — отвечал он, — мы не собьемся с дороги.

— Но мне кажется, мы подвигаемся к Москве?

— Да, она теперь от нас не более четырех верст.

— Я думаю, гораздо безопаснее было бы держаться от нее подальше.

— Но для этого надобно ехать открытым полем, а здесь, хоть мы и близко от французов, да зато едем лесом. Однако ж он становится реже: вон, кажется, налево... видите? высокая сосна — так и есть! Мы выедем сейчас на большую поляну, а там пустимся опять лесом, переедем поперек Коломенскую дорогу, повернем налево и, я надеюсь, часа через два будем дома, то есть в моем таборе, — разумеется, если без меня не было никакой тревоги. Впрочем, и в этом случае я знаю, где найти моих молодцов: французы за ними не угоняются.

В продолжение этого разговора офицеры выехали на обширную поляну, и пожар Москвы во всей ужасной красоте своей представился их взорам. Кой-где, как уединенные острова, чернелись на этом огненном море части города, превращенные уже в пепел.

— Какая прелестная картина! — сказал артиллерийской офицер, остановив свою лошадь.

— Посмотрите — соборы, Иван Великой, весь Кремль как на блюдечке. Не правда ли, что он походит на какую-то прозрачную картину, которая подымается из пламени? В самом деле, казалось, можно было рассмотреть каждую трещину на белых стенах Кремля, освещенных со всех сторон пылающей Москвою.

— Сам ад не может быть ужаснее! — вскричал Зарецкой, глядя с содроганием на эту ужасную картину разрушения.

— Ого! — продолжал его товарищ, — огонек-то добирается и до Кремля. Посмотрите: со всех сторон — кругом!.. Ай да молодцы! как они проворят! Ну, если Наполеон еще в Кремле, то может похвастаться, что мы приняли его как дорогого гостя и, по русскому обычаю, попотчевали банею.

— Хороша баня! — сказал вполголоса Зарецкой,

— Да разве вы не знаете старинной пословицы: по Сеньке шапка? Мы с вами и в землянке выпаримся, а для его императорского величества — как не истопить всего Кремля?.. и нечего сказать: баня славная!.. Чай, стены теперь раскалились, так и пышут. Москва-река под руками: поддавай только на эту каменку, а уж за паром дело не станет.

— Я удивляюсь, — сказал Зарецкой, — как можете вы шутить...

— В самом деле, это странно, не правда ли? Однако ж поедемте. Наблюдая глубокое молчание, они проехали еще версты две лесом.

— Как ветер ревет между деревьями! — сказал наконец Зарецкой. — А знаете ли что? Как станешь прислушиваться, то кажется, будто бы в этом вое есть какая-то гармония. Слышите ли, какие переходы из тона в тон? Вот он загудел басом; теперь свистит

дишкантом... А это что?.. Ах, батюшки!.. Не правда ли, как будто вдали льется вода? Слышите? настоящий водопад.

— Нет, черт возьми! — сказал товарищ Зарецкого, осадя свою лошадь. — Это не ветер и не вода.

— Что ж это такое?

— Да просто — конской топот. Так и есть! Вот и Миронов к нам едет. Ну что, братец?

— По Коломенской дороге идет конница, ваше благородие!

— С которой стороны?

— От Москвы.

— Так это французы. Прошу стоять смирно.

Через несколько минут отряд французских драгун проехал по большой дороге, которая была шагах в десяти от наших путешественников. Солдаты громко разговаривали между собою; офицеры смеялись; но раза два что-то похожее на проклятия, предметом которых, кажется, была не Россия, долетело до ушей Зарецкого.

— Ваше благородие! — сказал шепотом казак, когда неприятельской отряд проехал мимо.

— У них есть отсталой.

— Право?

— Вон, кажется, один драгун подтягивает подпруги у своей лошади. Не прикажете ли? Я его мигом сарканю.

— Ну, хорошо; да смотри, чтоб не пикнул. Казак отвязал веревку от своего седла и почти ползком подкрался к опушке леса. В ту самую минуту, как драгун заносил ногу в стремя, петля упала ему на шею, и он, до половины задавленный, захрипев, повалился на землю. В полминуты француз, с завязанным ртом и связанными назад руками, посажен был на лошадь, отдан под присмотр уланскому вахмистру и отправился вслед за нашими путешественниками. Проехав еще верст десять лесом, который становился час от часу гуще, они увидели вдали между деревьями огонек. Миронов свистнул; ему отвечали тем же, и человек десять казаков высыпали навстречу путешественникам: это был передовой пикет летучего отряда, которым командовал артиллерийский офицер.

ГЛАВА IV

Ветер затих. Густые облака дыма не крутились уже в воздухе. Как тяжкие свинцовые глыбы, они висели над кровлями догорающих домов. Смердный, удушливый воздух захватывал дыхание: ничто не одушевляло безжизненных небес Москвы. Над дымящимися развалинами Охотного ряда не кружились резвые голуби, и только в вышине, под самыми облаками, плавали стаи черных коршунов. На краю пологого ската

горы, опоясанной высокой Кремлевской стеною, стоял, закинув назад руки, человек небольшого роста, в сером сюртуке и треугольной низкой шляпе. Внизу, у самых ног его, текла, изгибаясь, Москва-река; освещенная багровым пламенем пожара, она, казалось, струилась кровью. Склонив угрюмое чело свое, он смотрел задумчиво на се сверкающие волны... Ах! в них отразилась в последний раз и потухла навеки дивная звезда его счастья! Шагах в десяти от него, наблюдая почтительное молчание, стояли французские маршалы, генералы и несколько адъютантов. Они с ужасом смотрели на пламенный океан, который, быстро разливаясь кругом всего Кремля, казалось, спешил поглотить сию священную и древнюю обитель царей русских.

В то же самое время, внизу, против Тайницких ворот, прислонясь к железным перилам набережной, стоял видный собою купец в синем поношенном кафтане. Он посматривал с приметным удовольствием то на Кремль, окруженный со всех сторон пылающими домами, то на противоположный берег реки, на котором догорало обширное Замоскворечье.

— А! Это ты, Ваня? — сказал он, сделав несколько шагов навстречу к молодому и рослому детине, который с виду походил на мастерового. — Ну, что?

— Да слава богу, Андрей Васьянович! За Москвой-рекой все идет как по маслу. На Зацепе и по всему валу хоть рожь молоти — гладехонько! На Пятницкой и Ордынке кой-где еще остались дома, да зато на Полянке так дерма и дерет!

— А у Серпуховских ворот?

— В трех местах зажигали, да злодеи-то наши все тушат. Загорелся было порядком дом Ивана Архиповича Сезёмова; да и тот мы с ребятами, по твоему приказу, отстояли.

— Спасибо вам, детушки! Иван Архипыч старик дряхлый, и жена у него плоха. Да это ничего: доплелись бы как-нибудь до Калуги; а вот что — у них в дому лежит больной офицер.

— Наш русской?

— Ну да! Смотри только, не проболтайся. Постой-ка! Никак, опять ветер подымается... Давай господи! И кажется, с петербургской стороны?.. То-то бы славно!

— В самом деле, — сказал мастеровой, — посмотри-ка, от Охотного ряда и Моховой какие головни опять полетели... Авось теперь и до Кремля доберется.

— Ага! — сказал купец, подняв кверху голову, — что?.. душно стало?.. выползли, проклятые!

— Что это, Андрей Васьянович? — спросил мастеровой. — Никак, это французские генералы? Посмотри-ка, так и залиты в золото — словно жар горят!

— Подожди, брат... позакоптятся.

— Глядь-ка, хозяин! Видишь, этот, что всех золотистее и стоит впереди... Экой молодчина!.. Уж не сам ли это Бонапартий?.. Да не туда смотришь: вот прямо-то над нами.

Купец, не отвечая ни слова, продолжал смотреть в другую сторону.

— Ну, Ваня! — сказал он, схватив за руку молодого парня, — так и есть! Вон стоит на самом краю в сером сертучишке... это он!

— Кто?.. этот недоросток-то? Что ты, хозяин!

— Да, Ваня! разве не видишь, что он один стоит в шляпе?

— В самом деле! Ах, батюшки светы! Вот диковинка-то! Ну, видно, по пословице: не велика птичка, да ноготок востер! Ах ты, господи боже мой! в рекруты не годится, а каких дел наделал!

— Посмотри-ка! — сказал купец, — как он стоит там: один-одинехонек... в дыму... словно коршун выглядывает из-за тучи и висит над нашими головами. Да не сносить же и тебе своей башки, атаман разбойничий!

— Глядь-ка, хозяин! Что это они зашевелились? Эге! какой сзади повалил дым!.. Знать, огонь-то и до них добирается!

— В самом деле! Видно, их путем стало пропекать.

— Ахти, Андрей Васьянович! — вскричал мастеровой, — никак, они кинулись вниз, к Тайницким воротам. Не убраться ли нам за добра ума?

— Зачем? Может статься, они попросят нас показать им дорогу. Ведь теперь выбраться отсюда на чистое место не легко. Ну, что ж ты глаза-то на меня выпучил?

— Как, хозяин? — вскричал с удивлением мастеровой. — Да что тебе за охота подслуживаться нашим злодеям?

— А почему ж и нет? — сказал с улыбкою купец. — Я уж им и так другие сутки служу верой и правдою. Но постой-ка!.. вот они!.. Ну, полезли вон, как тараканы из угарной избы!..

Человек пять французских офицеров и один польской генерал выбежали из Тайницких ворот на набережную.

— Видишь, как этот генерал озирается во все стороны? — сказал шепотом купец, — Что, мусью? видно, брат, нет ни входа, ни выхода?

— Боже мой! — вскричал генерал, — кругом, со всех сторон, везде огонь!.. Нет ли другого выхода из Кремля?

— Нет, — отвечал один из офицеров. — Здесь все менее опасности, чем с той стороны.

— Не лучше ли императору остаться в Кремле? — сказал другой офицер.

— Но разве не видите, — перервал генерал, — что огонь со всех сторон в него врывается?

— А против самого дворца стоят пороховые ящики, — прибавил первый офицер.

— Проклятые русские! — закричал генерал. — Варвары!..

— Они варвары? — возразил один офицер в огромной медвежьей шапке. — Вы слишком милостивы, генерал! Они не варвары, а дикие звери!.. Мы думали здесь отдохнуть, повеселиться... и что ж? Эти проклятые калмыки... О! их должно непременно загнать в Азию, надобно очистить Европу от этих татар!.. Посмотрите! вон стоят их двое... С каким скотским равнодушием смотрят они на этот ужасный пожар!.. И этих двуногих животных называют людьми!..

— Постойте! — сказал генерал, — если они так спокойны, то, верно, знают, как выйти из этого огненного лабиринта. Эй, голубчик! — продолжал он довольно чистым русским языком, подойдя к мастеровому, — не можешь ли ты вывести нас к Тверской заставе?

— К Тверской заставе?.. — повторил мастеровой, почесывая голову. — А где Тверская-то застава, батюшка?..

— Как где? Ну там, где дорога в Петербург.

— Дорога в Питер?.. А где это, кормилец?

— Дуралей! Да разве ты не знаешь?

— Не ведаю, батюшка! Я нездешний.

— Извольте, ваша милость, — подхватил купец, — я вас выведу к Тверской заставе.

— Послушай, братец! Если ты проведешь нас благополучно, то тебе хорошо заплатят; если же нет...

— Помилуйте, батюшка. Да я здешний старожил и все закоулки знаю.

— Вот, кажется, сам император, — вскричал один из офицеров. — Слава богу, он решился наконец оставить Кремль.

Человек в сером сюртуке, окруженный толпою генералов, вышел из Тайницких ворот. На угрюмом, но спокойном лице его незаметно было никакой тревоги. Он окинул быстрым взглядом все окружности Каменного моста и прошептал сквозь зубы: варвары! Скифы! Потом обратился к польскому генералу и, устремя на него свой орлиный взгляд, сказал отрывисто:

— Ну, что?

— Я нашел проводника, — отвечал почтительно генерал, — и если вашему величеству угодно...

— Ступайте вперед!

Польской генерал подозвал купца и пошел вместе с ним впереди толпы, которая, окружив со всех сторон Наполеона, пустилась вслед за проводником к Каменному мосту. Когда они подошли к угловой кремлевской башне, то вся Неглинная, Моховая и несколько

поперечных улиц представились их взорам в виде одного необозримого пожара. Направо пылающий железный ряд, как огненная стена, тянулся по берегу Неглинпой; а с левой стороны пламя от догорающих домов расстиралось во всю ширину узкой набережной.

— Как! — вскричал польской генерал, — неужели мы должны пройти сквозь этот огонь?

— Да, — отвечал купец.

— Боже мой! это настоящий ад!

Купец усмехнулся.

— Чему же ты смеешься, дурак? — вскричал с досадою генерал.

— Не погневайтесь, ваша милость, — сказал купец, — да неужели этот огонь страшнее для вас русских ядер?

— Русских ядер!.. Мы не боимся вашего оружия; но быть победителями и сгореть живым... нет, черт возьми! это вовсе не приятно!.. Куда же ты?

— А вот налево, в этот переулок.

Генерал отступил назад и повторил с ужасом:

— В этот переулок?.

И в самом деле, было чего испугаться: узкой переулок, которым хотел их вести купец, походил на отверстие раскаленной печи; он изгибался позади домов, выстроенных на набережной, и, казалось, не имел никакого выхода.

— Послушай! — продолжал генерал, взглянув недоверчиво на купца, — если это подлое предательство, то, клянусь честью! твоя голова слетит прежде, чем кто-нибудь из нас погибнет.

— И, батюшка! Да что мне за радость сгореть вместе с вами? — отвечал хладнокровно купец. — А если б мне и пришла такая дурь в голову, так неужели вы меня смертью запугаете? Ведь умирать-то все равно.

— Но для чего же ты не ведешь по этой широкой улице?

— По Знаменке, батюшка?.. Нельзя! Там теперь, около Арбатской площади, и птица не пролетит.

— Однако ж, мне кажется, все лучше...

— По мне, пожалуй! Только не извольте пенять на меня, если мы на чистое место не выдем; да и назад-то уж нельзя будет вернуться.

— Что ж вы остановились? — сказал Наполеон, подойдя к генералу.

— Государь!.. я опасаюсь... дрожу за вас...

— Вы дрожите, генерал?.. не верю!

— Нам должно идти вот этим переулком.

— Так что ж? другой дороги нет?

— Проводник говорит, что нет.

— А если так... господа! вы, кажется, никогда огня не боялись — за мной!

Толпа французов кинулась вслед за Наполеоном. В полминуты нестерпимый жар обхватил каждого; все платья задымились. Сильный ветер раздувал пламя, пожирающее с ужасным визгом дома, посреди которых они шли: то крутил его в воздухе, то сгибал раскаленным сводом над их головами. Вокруг с оглушающим треском ломались кровли, падали железные листы и полуобгоревшие доски; на каждом шагу пылающие бревны и кучи кирпичей преграждали им дорогу: они шли по огненной земле, под огненным небом, среди огненных стен. «Вперед, господа! — вскричал Наполеон, — вперед! Одна быстрота может спасти нас!» Они добежали уже до середины переулка, который круто поворачивал налево; вдруг польской генерал остановился: переулок упирался в пылающий дом — выхода не было. «Злодей, изменник!» — вскричал он, схватив за руку своего проводника. Купец рванулся, повалил наземь генерала и кинулся в один догорающий дом. «За проводником! — закричали несколько голосов. — Этот дом должен быть сквозной». Но в ту самую минуту передняя стена с ужасным громом рухнула, и среди двух столбов пламени, которые быстро поднялись к небесам, открылась широкая каменная лестница. На одной из верхних ее ступеней, окруженный огнем и дымом, как злой дух, стерегущий преддверье ада, стоял купец. Он кинул торжествующий взгляд на отчаянную толпу французов и с громким хохотом исчез снова среди пылающих развалин. «Мы погибли!» — вскричал польской генерал. Наполеон побледнел... Но десница всевышнего хранила еще главу сию для новых бедствий; еще не настала минута возмездия! В то время, когда не оставалось уже никакой надежды к спасению, в дверях дома, который заграждал им выход, показалось человек пять французских гренадеров. «Солдаты! — вскричал один из маршалов, — спасайте императора!» Гренадеры побросали награбленные ими вещи и провели Наполеона сквозь огонь на обширный двор, покрытый остатками догоревших служб. Тут встретили его еще несколько егерей итальянской гвардии, и при помощи их вся толпа, переходя с одного пепелища на другое, добралась наконец до Арбата. Для Наполеона отыскивали какую-то лошаденку; он сел на нее, и в сем-то торжественном шествии, наблюдая глубокое молчание, этот завоеватель России доехал наконец

(* Выражение очевидца, генерала Сегюра, — Прим. автора.)

до Драгомиловского моста. Здесь в первый раз прояснились лица его свиты; вся опасность миновалась: они уже были почти за городом.

— Мне кажется, — сказал один из адъютантов Наполеона, — что мы вчера этой же самой дорогою въезжали в Москву.

— Да! — отвечал один пожилой кавалерийской полковник, — вон на той стороне реки и деревянный дом, в котором третьего дня ночевал император.

— И хорошо бы сделал, если бы в нем остался. *Ces sacres barbares!* (Эти проклятые варвары! (фр.)) Как они нас угостили в своем Кремле! Ну можно ли было ожидать такой встречи? Помните, за день до нашего вступления в эту проклятую Москву к нам приводили для расспросов какого-то купца... Ах, боже мой!.. Да, кажется, это тот самый изменник, который был сейчас нашим проводником... точно так!.. Ну, теперь я понимаю!..

— Что такое?..

— Да разве вы забыли, что этот татарин на мой вопрос: как примут нас московские жители, отвечал, что вряд ли сделают нам встречу; но что освещение в городе непременно будет. — Ну что ж, разве он солгал?.. Разве нас угощали где-нибудь иллюминацией лучше этой?

— Черт бы ее побрал! — сказал Наполеонов мамелюк Рустан, поглаживая свои опаленные усы.

— Надобно признаться, — продолжал первый адъютант, — писатели наши говорят совершенную истину об этой варварской земле. Что за народ!.. Ну, можно ли называть европейцами этих скифов?

— Однако ж, я думаю, — отвечал хладнокровно полковник, — вы видали много русских пленных офицеров, которые вовсе на скифов не походят?

— О, вы вечный защитник русских! — вскричал адъютант. — И оттого, что вы имели терпение прожить когда-то целый год в этом царстве зимы...

— Да оттого-то именно я знаю его лучше, чем вы, и не хочу, по примеру многих соотечественников моих, повторять нелепые рассказы о русских и платить клеветой за всегдашнюю их ласку и гостеприимство.

— Но позвольте спросить вас, господни защитник россиян: чем оправдаете вы пожар Москвы, этот неслыханный пример закоснелого невежества, варварства...

— И любви к отечеству, — перервал полковник. — Конечно, в этом вовсе не европейском поступке россиян есть что-то непросвещенное, дикое; но когда я вспомню, как принимали нас в других столицах, и в то же время посмотрю на пылающую Москву... то, признаюсь, дивлюсь и завидую этим скифам.

— Согласитесь, однако ж, полковник, — перервал человек средних лет в генеральском мундире, — что в некотором отношении этот поступок оправдать ничем не можно и что те, кои жгли своими руками Москву, без всякого сомнения преступники.

— Перед кем, господин Сегюр? Если перед нами, то я совершенно согласен: по их милости мы сейчас было все сгорели; но я думаю, что за это преступление их судить не

станут.

— Перестаньте, полковник! — вскричал адъютант, — зажигатель всегда преступник. И что можно сказать о гражданине, который для того, чтоб избавиться от неприятеля, зажигает свой собственный дом? (Точно такой же вопрос делает г. Делор, сочинитель очерков французской революции (*Esquisses Historiques de la Revolution Francaise*). — Прим. автора.).

— Что можно сказать? Мне кажется, на ваш вопрос отвечать очень легко: вероятно, этот гражданин более ненавидит врагов своего отечества, чем любит свой собственный дом. Вот если б московские жители выбежали навстречу к нашим войскам, осыпали их рукоплесканиями, приняли с отверстыми объятиями, и вы спросили бы русских: какое имя можно дать подобным гражданам?.. то, без сомнения, им отвечать было бы гораздо затруднительнее.

— Однако ж, полковник, — сказал с приметною досадою адъютант, — позвольте вам заметить: вы с таким жаром защищаете наших неприятелей... прилично ли французскому офицеру...

— Вы еще очень молоды, господии адъютант, — перервал хладнокровно полковник, — и вряд ли можете знать лучше меня, что прилично офицеру. Я уж дрался за честь моей родины в то время, как вы были еще в пеленках, и смело могу сказать: горжусь именем француза. Но оттого-то именно и уважаю благородную русскую нацию. Это самоотвержение, эта беспредельная любовь к отечеству — понятны душе моей: я француз. И неужели вы думаете, что, унижая врагов наших, мы не уменьшаем этим собственную нашу славу? Победа над презренным неприятелем может ли, должна ли радовать сердца воинов Наполеона?

— Конечно, конечно, — перервал Сегюр. — *A vaincre sans peril, on triomphe sans gloire* (Побеждая без опасности, торжествуют без славы (фр.)). Но вот уж мы и за городом. Наполеон, поворотя направо вверх по течению Москвы-реки, переправился близ села Хорошева чрез плавучий мост и, проехав несколько верст полем, дотащился наконец до Петербургской дороги. Тут кончилось это достопамятное путешествие императора французов от Кремля до Петровского замка, из которого он переехал опять в Кремль не прежде, как прекратились пожары, то есть когда уже почти вся Москва превратилась в пепел.

Несмотря на строгую взыскательность некоторых критиков, которые бог знает почему никак не позволяют автору говорить от собственного своего лица с читателем, я намерен, оканчивая эту главу, сказать слова два об одном не совсем еще решенном у нас вопросе: точно ли русские, а не французы сожгли Москву?.. Было время, что мы, испуганные

восклицаниями парижских журналистов: «Ces barbares que ne savaient se defendre qu en brulant leurs propres habitations (Эти варвары, которые не умели защищать себя иначе, как сжигая собственные дома свои (фр.)), готовы были божиться в противном; но теперь, надеюсь, никакая красноречивая французская фраза не заставит нас отказаться от того, чем не только мы, но и позднейшие потомки наши станут гордиться. Нет! мы не уступим никому чести московского пожара: это одно из драгоценнейших наследий, которое наш век передаст будущему. Пусть современные французские писатели, всегда готовые платить ругательством за нашу ласку и гостеприимство, кричат, что мы варвары, что, превратя в пепел древнюю столицу России, мы отодвинули себя назад на целое столетие: последствия доказали противное; а беспристрастное потомство скажет, что в сем спасительном пожаре Москвы погиб навсегда тот, кто хотел наложить оковы рабства на всю Европу. Да! не на пустынном острове, но под дымящимися развалинами Москвы Наполеон нашел свою могилу! В упрямом военачальнике, влекущем на явную гибель остатки своих бесстрашных легионов, в мятежном корсиканце, взволновавшем снова успокоенную Францию, — я вижу еще что-то великое; но в неугомонном пленнике англичан, в мелочном ругателе своего тюремщика я не узнаю решительно того колоссального Наполеона, который и в падении своем не должен был походить на обыкновенного человека.

ГЛАВА V

Уже более трех недель Наполеон жил снова в Кремле. Большая русская армия под главным начальством незабвенного князя Кутузова, прикрывая богатейшие наши провинции, стояла спокойно лагерем, имела все нужное в изобилии и беспрестанно усиливалась свежими войсками, подходившими из всех низовых губерний. Напротив, положение французской армии было вовсе не завидное: превращенная в пепел Москва не доставляла давно уже никакого продовольствия, и, несмотря на все военные предосторожности, целые партии фуражиров пропадали без вести; с каждым днем возрастала народная ненависть к французам. Буйные поступки солдат, начинавших уже забывать всю подчиненность, сожжение Москвы, а более всего осквернение церквей, сначала ограбленных, а потом превращенных в магазины и конюшни, довело наконец эту ненависть до какого-то исступления. Убить просто француза — казалось для русского крестьянина уже делом слишком обыкновенным; все роды смертей, одна другой ужаснее, ожидали несчастных неприятельских солдат, захваченных вооруженными толпами крестьян, которые, делаясь час от часу отважнее, стали наконец нападать на сильные отряды фуражиров и нередко оставались победителями. Эти, по-видимому

незначительные, но непрерывные потери обессиливали приметным образом неприятеля; а к довершению бедствия, наши летучие отряды почти совершенно отрезали большую французскую армию от всех ее пособий и резервов. Можно сказать без всякого преувеличения, что, когда французы шли вперед и стояли в Москве, русские партизаны составляли их арьергард; а во время ретирады сделались авангардом, перерезывали им дорогу, замедляли отступление и захватывали все транспорты с одеждою и продовольствием, которые спешили к ним навстречу.

В полной надежде на неизменную звезду своего счастья, Наполеон подписывал в Кремле новые постановления для парижских театров, прогуливался в своем сером сюртуке по городу и, глядя спокойно на бедственное состояние своего войска, ожидал с каждым днем мирных предложений от нашего двора. Но слово русского царя священно: он обещал своему народу не положить меча до тех пор, пока хотя единый враг останется в пределах его царства, — и свято сохранил сей обет. День проходил за днем, но никто не являлся к победителю с повинной головою. Наполеон досадовал, называл нас варварами, не понимающими, что такое европейская война, и наконец, вероятно по доброте своего сердца, не желая погубить до конца Россию, послал в главную квартиру светлейшего князя Кутузова своего любимца Лористона, уполномочив его заключить мир на самых выгодных для нас условиях. Всем известно, какой имело успех это человеколюбивое посольство, Лористон, воротясь в Москву, донес своему императору, что северные варвары не хотят слышать о мире и уверяют, будто бы война не кончилась, а только еще начинается.

Все это происходило в конце сентября месяца, и около того же самого времени отряд под командою знакомого нам артиллерийского офицера, переходя беспрестанно с одного места на другое, остановился ночевать недалеко от большой Калужской дороги. Рассветало. На одной обширной поляне, окруженной со всех сторон густым лесом, при слабом отблеске догорающих огней можно было без труда рассмотреть несколько десятков шалашей, или балаганов, расположенных полукругом. С полдюжины фур, две или три телеги, множество лошадей, стоящих кучами у сделанных на скорую руку коновязей, разбросанные котлы и пестрота одежд спящих в шалашах и перед огнями людей — все с первого взгляда походило на какой-то беспорядочный цыганский табор. Но в то же время целые пуки воткнутых в землю дротиков и казаки, стоящие на часах по опушке леса, доказывали, что на этой поляне расположены были биваки одного из летучих русских отрядов.

В небольшом полуоткрытом шалаше лежало трое офицеров, закутанных в синие шинели. Казалось, они спали крепким сном. Недалеко от них, перед балаганом, который был почти

вдвое более других, у пылающего костра, сидел русской офицер в зеленом спензере. Он курил трубку и от времени до времени посматривал с приметным нетерпением вперед; вдруг послышался вдали оклик часового. Офицер встал и, сделав несколько шагов вперед, остановился; через минуту раздался явственно лошадиный топот, и видный собою казак выехал рысью на поляну.

— Ну что, Миронов, — спросил офицер, подойдя к казаку, который спрыгнул с лошади.

— Неприятель точно потянулся по Калужской дороге?

— Да, ваше высокоблагородие! Французы ночуют верстах в пяти отсюда.

— А как силен неприятель?

— Я видел только передовых; этак сотен пять, шесть будет; да мужички мне сказывали, что за ними валит французов несметная сила.

— То есть два или три полка?

— Не могу знать, ваше высокоблагородие! А говорят, с ними много пушек.

— Так это не фуражиры. Ступай разбуди есаула: сейчас в поход.

В полминуты весь лагерь оживился; а офицер, подойдя к своему шалашу, закричал:

— Эй, господа, вставайте!

— Что такое? — спросил Зарецкой, приподымаясь и протирая глаза.

— Сейчас в поход!

— А я было заснул так крепко. Ах, черт возьми, как у меня болит голова! А все от этого проклятого пунша. Ну! — продолжал Зарецкой, подымаясь на ноги, — мы, кажется, угощая вчера наших пленных французов, и сами чересчур подгуляли. Да где ж они?

— Не бойтесь, не уйдут, — сказал, выходя из шалаша, одетый в серое полукафтанье офицер, в выговоре которого заметно было сербское наречие.

— Что ж они делают?

— Спят, — отвечал отрывисто серб.

— А как проснутся, — продолжал Зарецкой, — и вспомнят, как они все нам выболтали, так, верно, пожалеют, что выпили по лишнему стакану пунша. Да и вы, господа, — надобно сказать правду, — мастерски умеете пользоваться минутой откровенности.

— Это потому, — подхватил другой офицер в бурке и белой кавалерийской фуражке, — что мы верим русской пословице: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

— Посмотрите, если они сегодня не будут отречься от своих вчерашних слов.

— Не думаю, — сказал с какой-то странной улыбкою артиллерийской офицер.

— Куда мы теперь отправляемся? — спросил Зарецкой.

— Мы перейдем на Владимирскую дорогу и, может быть, будем опять верстах в десяти от Москвы.

— В десяти верстах! — повторил Зарецкой. — Что, если бы я мог как-нибудь узнать: жив ли мой друг Рославлев?

— Я на вашем месте, — сказал артиллерийской офицер, — постарался бы с ним увидеться.

— О! если б я мог побывать сам в Москве...

— Почему же нет? Да знаете ли, что вам это даже нужно? Извините, но мне кажется, вы слишком жалуете наших неприятелей; так вам вовсе не мешает взглянуть теперь на Москву: быть может, это вас несколько поразочарует. Вы говорите хорошо по-французски; у нас есть полный конноегерской мундир: оденьтесь в него, возьмите у меня лошадь, отбитую у неприятельского офицера, и ступайте смело в Москву. Там теперь такое смешение языков и мундиров, что никому не придет в голову экзаменовать вас, к какому вы принадлежите полку.

— А что вы думаете? — вскричал Зарецкой. — Если Рославлев жив, то, может быть, я найду способ вывезти его из Москвы и добраться вместе с ним до нашей армии.

— Может быть. Одевайтесь же скорее: мы сейчас выступаем.

В несколько минут Зарецкой, при помощи проворного казачьего урядника, преобразился в неприятельского офицера, надел сверх мундира синюю шинель с длинным воротником и, вскочив на лошадь, оседланную французским седлом, сказал:

— Как удивятся наши пленные, когда увидят меня в этом наряде. Да где ж они?.. Ба! они еще спят. Надобно их разбудить.

— Зачем? — перервал артиллерийской офицер, садясь на лошадь.

— Мы со всех сторон окружены французами, где нам таскать с собою пленных.

— Но мы идем отсюда.

— А они остаются.

— Да теперь, покуда они спят...

— И не проснутся! — сказал серб, закуривая спокойно свою трубку.

У Зарецкого сердце замерло от ужаса; он взглянул с отвращением на своих товарищей и замолчал. Весь отряд, приняв направо, потянулся лесом по узкой просеке, которая вывела их на чистое поле. Проехав верст десять, они стали опять встречать лесистые места и часу в одиннадцатом утра остановились отдохнуть недалеко от села Карачарова в густом сосновом лесу.

— Ну, если вы не передумали ехать в Москву, — сказал артиллерийской офицер, — то ступайте теперь: я приму отсюда налево и остановлюсь не прежде, как буду от нее верстах в тридцати.

Покормив лошадей подножным кормом и отдохнув, отряд приготовился к выступлению; а Зарецкой, простясь довольно холодно с бывшими своими товарищами, выехал из леса прямо на большую дорогу, которая шла через село Карачарово. Подъехав к длинной гати, проложенной по низкому месту вплоть до самого селения, Зарецкой увидел, что перед околицей стоит сильный неприятельский пикет. Желая как можно реже встречаться с теперешними своими сослуживцами, он принял налево полем и продолжал объезжать все деревни и селения, наполненные французами. Изредка встречались с ним бродящие по огородам солдаты: одни, как будто бы нехотя, прикладывали руки к своим киверам; другие, взглянув на него весьма равнодушно, продолжали рыться между гряд. С приближением его к Москве число этих бродяг беспрестанно увеличивалось; близ Спасской заставы по всем огородам были рассыпаны солдаты всех наций. Зарецкой заметил, что многие из них таскали за собой обывателей из простого народа, на которых, как на выучных лошадей, накладывали мешки с картофелем, репою и другими огородными овощами. Подъезжая к заставе, он думал, что его закидают вопросами; но, к счастью, опасения его не оправдались. Часовой, в изорванной шинели, в протоптанных башмаках и высокой медвежьей шапке, не сделал ему на караул, но зато и не беспокоил его никаким вопросом.

Какое странное и вместе плачевное зрелище представилось Зарецкому, когда он въехал в город! Вместо улиц тянулись бесконечные ряды труб и печей, посреди которых от времени до времени возвышались полуразрушенные кирпичные дома; на каждом шагу встречались с ним толпы оборванных солдат: одни, запачканные сажею, черные, как негры, копались в развалинах домов; другие, опьянев от русского вина, кричали охриплым голосом: «Viva l'Empereur!» (Да здравствует император! (фр.)) — шумели и пели песни на разных европейских языках. Обломки столов и стульев, изорванные картины, разбитые зеркала, фарфор, пустые бутылки, бочки и мертвые лошади покрывали мостовую. Все это вместе представляло такую отвратительную картину беспорядка и разрушения, что Зарецкой едва мог удержаться от восклицания: «Злодеи! что сделали вы с несчастной Москвою!» Будучи воспитан, как и большая часть наших молодых людей, под присмотром французского гувернера, Зарецкой не мог назваться набожным; но, несмотря на это, его русское сердце облилось кровью, когда он увидел, что почти во всех церквях стояли лошади; что стойла их были сколочены из икон, обезображенных, изрубленных и покрытых грязью. Но как описать его негодование, когда, проезжая мимо одной церкви, он прочел на ней надпись: «Конюшня генерала Гильемино». «Нет, господа французы! — вскричал он, позабыв, что окружен со всех сторон неприятелем, — это уже слишком!.. ругаться над тем, что целый народ считает священным!.. Если это, по-вашему, называется

отсутствием всех предрассудков и просвещением, так черт его побери и вместе с вами!» Когда он стал приближаться к середине города, то, боясь встретить французского генерала, который мог бы ему сделать какой-нибудь затруднительный вопрос, Зарецкой всякий раз, когда сверкали вдали шитые мундиры и показывались толпы верховых, сворачивал в сторону и скрывался между развалинами. Несколько раз случалось ему, для избежания подобной встречи, въезжать в какую-нибудь залу или прятаться за мраморным камином и потом снова выбираться на улицу сквозь целый ряд комнат без полов и потолков, но сохранивших еще по тестам свою позолоту и живопись. Переехав Язу, Зарецкой пустился рысью по набережной Москвы-реки, мимо уцелевшего воспитательного дома, и, миновав благополучно Кремль, заметил, что на самой середине Каменного моста толпилось много народа. Когда он подъехал к этой толпе, которая занимала всю ширину моста, то должен был за теснотою приостановить свою лошадь подле двух гвардейских солдат. Они разговаривали о чем-то с большим жаром.

— Как! — вскричал один из них, — обе молодые девушки?..

— Да! — отвечал другой, — они обе в моих глазах бросились с моста прямо в реку.

— *Matin! Sont elles farouches ces bourgeois de Moscou!..* (Вот так штука! Ну и дикарки эти московские горожанки! (фр.)) Броситься в реку оттого, что двое гвардейских солдат предложили им погулять и повеселиться вместе с ними!.. Ну вот, к чему служит парижская вежливость с этими варварами!

— Правда, — сказал первый солдат, — они тащили их насильно.

— Насильно!.. насильно!.. Но если эти дуры не знают общежития!.. Что за народ эти русские!.. Мне кажется, они еще глупее немцев... А как бестолковы!.. С ними говоришь чистым французским языком — ни слова не понимают. *Sacristie! Comine ils sont betes ces barbares!* (Черт возьми! Как глупы эти варвары! (фр.))

— Здравствуй, Дюран! — сказал кто-то на французском языке позади Зарецкого.

— Ну что, доволен ли ты своей лошадейю? — продолжал тот же голос, и так близко, что Зарецкой оглянулся и увидел подле себя кавалерийского офицера, который, отступя шаг назад, вскричал с удивлением:

— Ах, боже мой! я ошибся, извините!.. я принял вас за моего приятеля... но неужели он продал вам свою лошадь?.. Да! Это точно она!.. Позвольте спросить, дорого ли вы за нее заплатили?

— Четыреста франков, — отвечал наудачу Зарецкой.

— Только?.. Он заплатил мне за нее восемьсот, а продал вам за четыреста!.. Странно!.. Вы служите с ним в одном полку?

— Нет! — отвечал отрывисто Зарецкой, стараясь прорваться сквозь толпу. Поворачивая во все стороны лошадь, он нечаянно распахнул свою шинель.

— Это странно! — сказал кавалерист, — вы служите не вместе с Дюраном, а на вас, кажется, такой же мундир, как и на нем.

— Мундиры наших полков очень сходны... Но извините!.. Мне некогда... Посторонитесь, господа!

— Что это? — продолжал кавалерист, заслонив дорогу Зарецкому. — Так точно! На вас его сабля!

— Я купил ее вместе с лошастью.

— Эту саблю?.. Позвольте взглянуть на рукоятку... Так и есть, на ней вырезано имя Аделаиды... странно! Он получил ее из рук сестры моей и продал вам вместе с своею лошастью...

— Да, сударь! вместе с лошастью..

— Извините!.. Но это так чудно... так непонятно... Я знаю хорошо Дюрана: он не способен к такому низкому поступку.

— То есть я солгал? — перервал Зарецкой, стараясь казаться обиженным.

— Да, сударь! это неправда!

— Неправда! — повторил Зарецкой ужасным голосом. — *Un dementi! a moi!*... (Упрекать во лжи! меня... (фр.))

— Как вас зовут, государь мой?

— Позвольте мне прежде узнать...

— Ваше имя, сударь?

— Но растолкуйте мне прежде...

— Ваше имя и ни слова более!..

— Капитан жандармов Рено; а вы, сударь?..

— Капитан Рено?.. Очень хорошо... Я знаю, где вы живете... Мы сегодня же увидимся... да, сударь! сегодня же!.. *Un dementi a moi!*... (Упрекать во лжи! меня... (фр.)) — повторил Зарецкой, пришпоривая свою лошадь.

— Господин офицер!.. господин офицер!.. — закричали со всех сторон — Тише! вы нас давите!.. Ай, ай, ай! *Misericorde!*... (Помилосердствуйте!.. (фр.)) Держите этого сумасшедшего!..

Но Зарецкой, не слушая ни воплей, ни проклятий, прорвался, как бешеный, сквозь толпу и, выскакав на противоположный берег реки, пустился шибкой рысью вдоль Полянки. Зарецкой вздохнул свободно не прежде, как потерял совсем из виду Каменный мост. Не опасаясь уже, что привязчивый жандармский офицер его догонит, он успокоился, поехал

шагом, и утешительная мысль, что, может быть, он скоро обнимет Рославлева, заменила в душе его всякое другое чувство. Почти все дома около Серпуховских ворот уцелели от пожара, следовательно он имел полное право надеяться, что отыщет дом купца Сезёмова. Доехав до конца Полянки, он остановился. Несколько сот неприятельских солдат прохаживались по площади. Одни курили трубки, другие продавали всякую всячину. Посреди всех германских наречий раздавались иногда звучные фразы итальянского языка, перерываемые беспрестанно восклицаниями и поговорками, которыми так богат язык французских солдат; по во всей толпе Зарецкой не заметил ни одного обывателя. Он объехал кругом площадь, заглядывал во все окна и наконец решился войти в дом, над дверьми которого висела вывеска с надписью на французском и немецком языках: золотых дел мастер Франц Зингер.

Привязав у крыльца свою лошадь, Зарецкой вошел в небольшую горенку, обитую изорванными обоями. Несколько плохих стульев, разбитое зеркало и гравированный портрет Наполеона в черной рамке составляли всю мебель этой комнаты. Позади прилавка из простого дерева сидела за работою девочка лет двенадцати в опрятном ситцевом платье. Когда она увидела вошедшего Зарецкого, то, вскочив проворно со стула и сделав ему вежливый книксен (поклон, сопровождающийся приседанием (нем.)), спросила на дурном французском языке: «Что угодно господину офицеру?» Потом, не дожидаясь его ответа, открыла с стеклянным верхом ящик, в котором лежали дюжины три золотых колец, несколько печатей, цепочек и два или три креста Почетного легиона.

— Где хозяин? — спросил Зарецкой.

— Папенька? Его нет дома.

— Не знаешь ли, миленькая, где здесь дом купца Сезёмова?

— Сезёмова? Не знаю, господин офицер; но если вам угодно немного подождать, папенька скоро придет: он, верно, знает.

Зарецкой кивнул в знак согласия головою, а девочка села на стул и принялась снова вязать свой белый бумажный колпак с синими полосками.

Прошло с четверть часа. Зарецкой начинал уже терять терпение; наконец двери отворились, и толстый немец, с прищуренными глазами, вошел в комнату. Поклонясь вежливо Зарецкому, он повторил также на французском языке вопрос своей дочери:

— Что угодно господину офицеру?

— Не знаете ли, где дом купца Сезёмова?

— Шагов двадцать отсюда, желтый дом с зелеными ставнями. Вы, верно, желаете видеть офицера, который у него квартирует?

— Да. Итак, желтый дом с зелеными ставнями?..

— Позвольте, позвольте!.. Вы его там не найдете: он переменил квартиру.

— Право? — сказал Зарецкой. — Все равно, я его как-нибудь отыщу.

— Позвольте!.. он теперь живет у меня.

— В самом деле?.. Но, кажется, его нет дома?..

— Да, он вышел; но не угодно ли в его комнату: господин капитан сейчас будет.

— Нет, я лучше зайду опять.

— Да подождите! он идет за мной.

— Нет, я вспомнил... мне еще нужно... я хотел... прощайте!..

— Постойте, господин офицер! постойте! — вскричал немец, взглянув в окно, — да вот и он!

Прежде чем Зарецкой успел образумиться, жандармской офицер, с которым он поспорил на Каменном мосту, вошел в комнату.

— Вот господин офицер, который отыскивал вашу квартиру, — сказал немец, обращаясь к своему постояльцу. — Он не знал, что вы переехали жить в мой дом.

Счастливая мысль, как молния, блеснула в голове Зарецкого.

— Господин Рено! — сказал он грозным голосом, — я обещался отыскать вас и, кажется, сдержал мое слово. Обида, которую вы мне сделали, требует немедленного удовлетворения: мы должны сейчас стреляться.

Хозяин-немец побледнел, начал пятиться назад и исчез за дверьми другой комнаты; но дочь его осталась на прежнем месте и с детским любопытством устремила свои простодушные голубые глаза на обоих офицеров.

— Прежде чем я буду отвечать вам, — сказал хладнокровно капитан Рено, — позвольте узнать, с кем имею честь говорить?

— Какое вам до этого дело? Вы видите, что я французский офицер.

— Извините! я вижу только, что на вас мундир французского офицера.

— Что вы хотите этим сказать? — вскричал Зарецкой, чувствуя какое-то невольное сжатие сердца.

— А то, сударь, что Москва теперь наполнена русскими шпионами во всех возможных костюмах.

— Как, господин капитан! вы смеете думать?..

— Да, сударь! — продолжал Рено, — французской офицер должен знать службу и не станет вызывать на дуэль капитана жандармов, который обязан предупреждать все подобные случаи.

— Но, сударь...

— Французской офицер не будет скрывать своего имени и давить народ, чтоб избежать затруднительных вопросов, которые вправе ему сделать каждый офицер жандармов.

— Но, сударь...

— Французской офицер не отлучится никогда самопроизвольно от своей команды. Ваш полк стоит далеко от Москвы, следовательно, вы должны иметь письменное позволение. Не угодно ли вам его показать?

— А если я его не имею?..

— В таком случае пожалуйста вашу саблю.

— Прекрасно, сударь!.. Вы обидели меня и употребляете этот низкой способ, чтоб отделаться от поединка. Позвольте ж и мне теперь спросить вас: француз ли вы?

— Вы напрасно расточаете ваше красноречие. Быть может, я несколько погорячился; но извините!.. Все ваши ответы были так странны: лошадь, которую вы купили за половину цены; сабля, которая никак не могла быть вам продана, и даже это смущение, которое я замечаю в глазах ваших, — все заставляет меня пригласить вас вместе со мной к коменданту. Там дело объяснится. Мы узнаем, должен ли я просить у вас извинения или поблагодарить вас за то, что вы доставили мне случай доказать, что я не даром ношу этот мундир. Да не горячитесь: у меня в сенях жандармы. Пожалуйста вашу саблю!

— Так возьмите же ее сами! — вскричал Зарецкой, отступив два шага назад. Вдруг двери отворились и в комнату вошел прекрасный собою мужчина в кирасирском мундире, с полковничьими эполетами. При первом взгляде на Зарецкого он не мог удержаться от невольного восклицания.

— Ах, это вы, граф!.. — вскричал Зарецкой, узнав тотчас в офицере полковника Сеникура.

— Как я рад, что вас вижу! Сделайте милость, уверьте господина Рено, что я точно французской капитан Данвиль.

— Капитан Данвиль!.. — повторил полковник, продолжая смотреть с удивлением на Зарецкого.

— Неужели, граф, вы меня не узнаете?..

— Извините! я вас тотчас узнал...

— И верно, вспомнили, что несколько месяцев назад я имел счастье спасти вас от смерти?

— Как! — вскричал жандармской капитан, — неужели в самом деле?..

— Да, Рено, — перервал полковник, — этот господин говорит правду; но я никак не думал встретить его в Москве и, признаюсь, весьма удивлен...

— Вы еще более удивитесь, полковник, — подхватил Зарецкой, — когда я вам скажу, что не имею на это никакого позволения от моего начальства; но вы, верно, перестанете удивляться, если узнаете причины, побудившие меня к этому поступку.

— Едва ли! — сказал полковник, покачав головою, — это такая неосторожность!.. Но позвольте узнать, что у вас такое с господином Рено?

— Представьте себе, граф! Господин Рено обидел меня ужасным образом, и когда я отыскал его квартиру, застал дома и стал просить удовлетворения...

— Что это все значит? — вскричал полковник, глядя с удивлением на обоих офицеров. — Вы в Москве... отыскивали жандармского капитана... вызываете его на дуэль... Черт возьми, если я тут что-нибудь понимаю!

— Послушайте, граф! — перервал Рено, — можете ли вы меня удостоверить, что этот господин точно капитан французской службы

— Да разве вы не видите? Впрочем, я готов еще раз повторить, что этот храбрый и благородный офицер вырвал меня из рук неприятельских солдат и что если я могу еще служить императору и бить русских, то, конечно, за это обязан единственно ему.

— О, в таком случае... Господин Данвиль! я признаю себя совершенно виноватым. Но эта проклятая сабля!.. Признаюсь, я и теперь не постигаю, как мог Дюран решиться продать саблю, которую получил из рук своей невесты... Согласитесь, что я скорей должен был предполагать, что он убит... что его лошадь и оружие достались неприятелю... что вы... Но если граф вас знает, то конечно...

— Итак, это кончено, — сказал полковник.

— Я думаю, господин Данвиль, вы теперь довольны? Да вам и некогда ссориться; советую по-дружески сей же час отправиться туда, откуда вы приехали.

— Извините, — сказал Рено, — я исполнил долг честного человека, признавшись в моей вине; теперь позвольте мне выполнить обязанность мою по службе. Господин Данвиль отлучился без позволения от своего полка, и я должен непременно довести это до сведения начальства.

— И, полноте, Рено! — перервал полковник, — что вам за радость, если моего приятеля накажут за этот необдуманный поступок? Конечно, — прибавил он, взглянув значительно на Зарецкого, — поступок более чем неосторожный и даже в некотором смысле непростительный — не спорю! но в котором, без всякого сомнения, нет ничего неприличного и унижительного для офицера: в этом я уверен.

— Так, полковник, так!.. Однако ж вы знаете, что порядок службы требует...

— Знаю, знаю, капитан! но представьте себе, что вы с ним никогда не встречались — вот и все! Пойдемте ко мне, Данвиль.

— Ну, если, граф, вы непременно этого хотите, то, конечно, я должен... я не могу отказать вам. Уезжайте же скорее отсюда, господин Данвиль; советую вам быть вперед осторожнее: император никогда не любил шутить военной дисциплиною, а теперь

сделался еще строже. Говорят, он беспрестанно сердится; эти проклятые русские выводят его из терпения. Варвары! и не думают о мире! Как будто бы война должна продолжаться вечно. Прощайте, господа!

— Это ваша лошадь? — спросил полковник, когда они вышли на крыльцо.

— Да, граф.

— Отвяжите ее и сделайте мне честь — пройдите со мною несколько шагов по улице. Зарецкой, ведя в поводу свою лошадь, отошел вместе с графом Сеникуром шагов сто от дома золотых, дел мастера. Поглядев вокруг себя и видя, что их никто не может подслушать, полковник остановился, кинул пронизательный взгляд на Зарецкого и сказал строгим голосом: — Теперь позвольте вас спросить, что значит этот маскарад?

— Я хотел узнать, жив ли мой друг, который, будучи отчаянно болен, не мог выехать из Москвы в то время, как вы в нее входили.

— И у вас не было никаких других намерений?

— Никаких, клянусь вам честью.

— Очень хорошо. Вы храбрый и благородный офицер — я верю вашему честному слову; но знаете ли, что, несмотря на это, вас должно, по всем военным законам, расстрелять как шпиона.

— Знаю.

— И вы решились, чтоб повидаться с вашим другом...

— Да, полковник! для этого только я решился надеть французской мундир и приехать в Москву.

— Признаюсь, я до сих пор думал, что одна любовь оправдывает подобные дурачества... но минуты дороги: малейшая неосторожность может стоить вам жизни. Ступайте скорей вон из Москвы.

— Я еще не виделся с моим другом.

— Отложите это свидание до лучшего времени. Мы не вечно здесь останемся.

— Надеюсь, граф... но если мой друг жив, то я могу спасти его.

— Спасти?

— То есть увезти из Москвы.

— Так поэтому он военный?

— Да, граф; но, может быть, ваше правительство об этом не знает?

— Извините! Я знаю теперь, что ваш друг офицер, следовательно, военнопленный и не может выехать из Москвы.

— Как, граф? вы хотите употребить во зло мою откровенность?

— Да, сударь! Я поступил уже против совести и моих правил, спасая от заслуженной казни человека, которого закон осуждает на смерть как шпиона; но я обязан вам жизнью, и хотя это не слишком завидный подарок, — прибавил полковник с грустной улыбкою, — а все я, не менее того, был вашим должником; теперь мы поквитались, и я, конечно, не допущу вас увезти с собою пленного офицера.

— Но знаете ли, полковник, кто этот пленный офицер?

— Какое мне до этого дело!

— Знаете ли, что вы успели уже отнять у него более, чем жизнь?

— Что вы говорите?

— Да, граф! Этот офицер — Рославлев.

— Рославлев? жених...

— Да, бывший жених Полины Лидиной.

— Возможно ли? — вскричал Сеникур, схватив за руку Зарецкого. — Как? это тот несчастный?.. Ах, что вы мне напомнили!.. Ужасная ночь!.. Нет!.. во всю жизнь мою не забуду... без чувств — в крови... у самых церковных дверей... сумасшедшая!.. Боже мой, боже мой!.. — Полковник замолчал. Лицо его было бледно; посиневшие губы дрожали. — Да! — вскричал он наконец, — я точно отнял у него более, чем жизнь, — он любил ее!

— Что ж останется у моего друга, — сказал Зарецкой, — если вы отнимете у него последнее утешение: свободу и возможность умереть за отечество?

— Нет, нет! я не хочу быть дважды его убийцею; он должен быть свободен!.. О, если б я мог хотя этим вознаградить его за зло, которое, клянусь богом, сделал ему невольно! Вы сохранили жизнь мою, вы причиною несчастья вашего друга, вы должны и спасти его. Ступайте к нему; я готов для него сделать все... да, все!.. но, бога ради, не говорите ему... послушайте: он был болен, быть может, он не в силах идти пешком... У самой заставы будет вас дожидаться мой человек с лошадьёю; скажите ему, что вы капитан Данвиль: он отдаст вам ее... Прощайте! я спешу домой!.. Ступайте к нему... ступайте!..

Полковник пустился почти бегом по площади, а Зарецкой, поглядев вокруг себя и видя, что он стоит в двух шагах от желтого дома с зелеными ставнями, подошел к запертым воротам и постучался. Через минуту мальчик, в изорванном сером кафтане, отворил калитку.

— Это дом купца Сезёмова? — спросил Зарецкой, стараясь выговаривать слова, как иностранец.

— Да, сударь! Да кого вам надобно? Здесь стоят одни солдаты.

— Мне нужно видеть самого хозяина.

— Хозяина? — повторил мальчик, взглянув с робостию на Зарецкого.

— Да у нас, сударь, ничего нет...

— Не бойся, голубчик, я ничем вас не обижу. Подержи мою лошадь. Мальчик, поглядывая недоверчиво на офицера, выполнил его приказание. Зарецкой вошел на двор. Небольшие сени разделяли дом на две половины: в той, которая была на улицу, раздавались громкие голоса. Он растворил дверь и увидел сидящих за столом человек десять гвардейских солдат: они обедали.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал Зарецкой.

Солдаты взглянули на него, один отвечал отрывистым голосом:

— Bonjour, monsieur! — но никто и не думал приподняться с своего места.

— Куда пройти к хозяину дома? — спросил Зарецкой.

— Ступайте прямо; он живет там — в угольной комнате, — отвечал один из солдат.

— Не! la vieille!.. (Эй, старуха!.. (фр.)) — продолжал он, застучав кулаком по столу. — Клеба!

— Что, батюшка, изволите? — сказала старуха лет шестидесяти, войдя в комнату.

— Arrives, donc, vieille sorciere... (Подойди сюда, старая ведьма... (фр.)) Клеба!

— Нет, батюшка!..

— Нет, батюшка!.. Allons сейшас!.. Клеба, — ou sacristi!.. (Ну же!.. черт возьми!.. (фр.))

— Не трогайте эту старуху, друзья мои! — сказал Зарецкой. — Вот вам червонец: вы можете на это купить и хлеба и вина.

— Merci, mon officier! (Спасибо, мой офицер! (фр.)) — сказал один усатый гренадер. — Подождите, друзья! Я сбегая к нашей маркитанше: у ней все найдешь за деньги. Зарецкой, сделав рукою знак старухе идти за ним, вышел в другую комнату.

— Послушай, голубушка, — сказал он вполголоса, — ведь хозяин этого дома купец Сезёмов?

— Да батюшка, я его сожительница.

— Тем лучше. У вас есть больной?

— Есть, батюшка; меньшой наш сын.

— Неправда; русской офицер.

— Видит бог, нет!.. — вскричала старуха, побледнев как полотно.

— Тише, тише! не кричи. Его зовут Владимиром Сергеевичем Рославлевым?

— Ах, господи!.. Кто это выболтал?

— Не бойся, я его приятель... и также русской офицер.

— Как, сударь?..

— Тише, бабушка, тише! Проведи меня к нему.

— Ох, батюшка!.. Да правду ли вы изволите говорить?..

— Увидишь сама, как он мне обрадуется. Веди меня к нему скорее.

— Пожалуйте, батюшка!.. Только бог вам судья, если вы меня, старуху, из ума выводите. Пройдя через две небольшие комнаты, хозяйка отворила потихоньку дверь в светлый и даже с некоторой роскошью убранный покой. На высокой кровати с ситцевым пологом сидел, облокотясь одной рукой на столик, поставленный у самого изголовья, бледный и худой как тень Рославлев. Подле него старик, с седою бородою, читал с большим вниманием толстую книгу в черном кожаном переплете. В ту самую минуту, как Зарецкой показался в дверях, старик произнес вполголоса: «Житие преподобного отца нашего...»

— Александр!.. — вскричал Рославлев.

— Нет, батюшка! — перервал старик, — не Александра, а Макария Египетского.

— Тише, мой друг! — сказал Зарецкой. — Так точно, это я; но успокойся!

— Ты в плену?..

— Нет, мой друг!

— Но как же ты попал в Москву?.. Что значит этот французской мундир?..

— Я расскажу тебе все, но время дорого. Отвечай скорее: можешь ли ты пройти хотя до заставы пешком?

— Могу.

— Слава богу! ты спасен.

— Как, сударь! — сказал старик, который в продолжение этого разговора смотрел с удивлением на Зарецкого. — Вы русской офицер?.. Вы надеетесь вывести Владимира Сергеевича из Москвы?

— Да, любезный, надеюсь. Но одевайся проворней, Рославлев, в какой-нибудь сюртук или шинель. Чем простее, тем лучше.

— За этим дело не станет, батюшка, — сказала старуха. — Платье найдем. Да извольте видеть, как он слаб! Сердечный! где ему и до заставы дотащиться!

— Не бойтесь, — сказал Рославлев, вставая, — я почти совсем здоров.

— Мавра Андреевна! — перервал старик, — вынь-ка из сундука Ваничкин сюртук: он будет впору его милости. Да где Андрюшина калмыцкая сибирка?

— В подвале, Иван Архипович! Я засунула ее между старых бочек.

— Принеси же ее скорее. Ну что ж, Мавра Андреевна, стоишь? Ступай!

— Да как же это, батюшка, Иван Архипович! — отвечала старуха, перебирая одной рукой концы своей шубейки, — в чем же Андрюша-то сам выйдет на улицу?

— Полно, матушка! не замерзнет и в кафтане.

— Скоро будут заморозы; да и теперь уж по вечерам-то холодновато.

— Я и сам не соглашусь, — перервал Рославлев, — чтобы вы для меня раздевали ваших детей.

— И, Владимир Сергеич! что вы слушаете моей старухи; дело ее бабье: сама не знает, что говорит.

— Я вам заплачу за все чистыми деньгами, — сказал Зарецкой.

— Слышишь, Мавра Андреевна? Эх, матушка!.. Вот до чего ты довела меня на старости!.. Пошла, сударыня, пошла!

Старуха вышла.

— Нет, господа! — продолжал Иван Архипович, — я благодаря бога в деньгах не нуждаюсь; а если бы и это было, так скорей сам в одной рубашке останусь, чем возьму хоть денежку с моего благодетеля. Да и она не знает, что мелет: у Андрюши есть полушубок; да он же теперь, слава богу, здоров; а вы, батюшка, только что оправляться, стали. Извольте-ка одеваться. Вот ваш кошелек и бумажник, — продолжал старик, вынимая их из сундука. — В бумажнике пятьсот ассигнациями, а в кошельке — не помню пятьдесят, не помню шестьдесят рублей серебром и золотом. Потрудитесь перечесать.

— Как вам не стыдно, Иван Архипович?

— Деньги счет любят, батюшка.

— Мы перечтем их после, — сказал Зарецкой, пособляя одеваться Рославлеву. — На вот твою казну... Ну что ж? Положи ее в боковой карман — вот так!.. Ну, Владимир, как ты исхудал, бедняжка!

— Извольте, батюшка! — сказала старуха, входя в комнату, — вот Андрюшина сибирка. Виновата, Иван Архипович! Ведь я совсем забыла: у нас еще запрятаны на чердаке два тулупа да лисья шуба.

— Теперь, — перервал Зарецкой, — надень круглую шляпу или вот этот картуз — если позволите, Иван Архипович?

— Сделайте милость, извольте брать все, что вам угодно.

— Ну, Владимир, прощайся — да в поход!

— А где же мой Егор? — спросил Рославлев.

— Сошел со двора, батюшка! — отвечала старуха.

— Скажите ему, чтоб он пробирался как-нибудь до нашей армии. Ну, прощайте, мои добрые хозяева!

— Позвольте, батюшка! — сказал старик. — Все надо начинать со крестом и молитвою, а кольми паче когда дело идет о животе и смерти. Милости прошу присесть. Садись, Мавра Андреевна.

— Извините! — сказал Зарецкой, — нам должно торопиться!..

— Садись, Александр! — перервал вполголоса Рославлев, — не огорчай моего доброго хозяина.

— Я очень уважаю все наши старинные обычаи, — сказал Зарецкой, садясь с приметным неудовольствием на стул, — но сделайте милость, чтоб это было покороче.

Старик не отвечал ни слова. Все сели по своим местам. Молчание, наблюдаемое в подобных случаях всеми присутствующими, придает что-то торжественное и важное этому древнему обычаю, и доньше свято сохраняемому большею частью русских. Глубокая тишина продолжалась около полуминуты; вдруг раз дался шум, и громкие восклицания французских солдат разнеслись по всему дому. «За здоровье императора!.. Да здравствует император!..» — загремели грубые голоса в близком расстоянии. Казалось, солдаты вышли из-за стола и разбрелись по всем комнатам.

Старик, а вслед за ним и все встали с своих мест. Оборотясь к иконам и положив три земные поклона, он произнес тихим голосом:

— Матерь божия! сохрани раба твоего Владимира под святым покровом твоим! Да сопутствует ему ангел господень; да ослепит он очи врагов наших; да соблюдет его здоровым, невредимым и сохранит от всякого бедствия! Твое бо есть, господи! еже миловати и спасати нас.

— Аминь! — сказала старуха.

— *Vive l'amour et le vin!*..(Да здравствует любовь и вино!.. (фр.)) — заревел отвратительный голос почти у самых дверей комнаты.

— Скорей, мой друг! скорей!.. — сказал Зарецкой. Рославлев молча обнял своих добрых хозяев, которые разливались горькими слезами.

— Владимир Сергеич! — проговорил, всхлипывая, старик. — Я долго называл тебя сыном; позволь мне, батюшка, благословить тебя! — Он перекрестил Рославлева, прижал его к груди своей и сказал: — Ну, Мавра Андреевна! проводи их скорей задним крыльцом. Христос с вами, мои родные! ступайте с богом, ступайте! а я стану молиться. Старуха вывела наших друзей на улицу, простилась еще раз с Рославлевым и захлопнула за ними калитку.

— Теперь, мой друг, не прогневайся! — сказал Зарецкой, — я сяду на лошадь, а ты ступай подле меня пешком. Это не слишком вежливо, да делать нечего: надобно, чтоб всем казалось, что я куда-нибудь послан, а ты у меня проводником. Постарайтесь только, сударь, дойти как-нибудь до заставы, а там я вам позволю ехать со мною!



— Ехать? Но где же ты возьмешь лошадь?

— Это уж не твоя забота. Прошу только со мной не разговаривать, глядеть на меня со страхом и трепетом и не забывать, что я французской офицер, а ты московской мещанин.

Проехав благополучно поперек площади, покрытой неприятельскими солдатами, Зарецкой принял направо и пустился вдоль средней Донской улицы, на которой почти не было проходящих. Попадавшиеся им изредка французы не обращали на них никакого внимания. Через несколько минут показались в конце улицы стены Донского монастыря, а вдали за ними гористые окрестности живописной Калужской дороги.

— Что, Владимир! — спросил Зарецкой, — ты очень устал? Ну, что ж ты не отвечаешь? Не бойся, здесь никого нет, — продолжал он, оглянувшись назад. — Что это? Куда девался Владимир?.. А! вон где он!.. Как отстал, бедняжка! Не! *veux-tu avancer, coquin...* (Эй! поторапливайся, негодяй... (фр.)) — закричал он сердитым голосом, осадя свою лошадь; но Рославлев, казалось, не слышал ничего и стоял на одном месте как вкопанный.

— Что ты, Владимир? — сказал Зарецкой, подъехав к своему приятелю. — Не отставай, братец! Да что ты уставился на этот дом?.. Эге! вижу, брат, вижу, куда ты смотришь! Ты глядишь на эту женщину... вон что стоит у окна, облокотясь на плечо французского полковника?.. О! да она в самом деле хороша! Немножко бледна!.. Впрочем, нам теперь не до красавиц. Полно, братец, ступай!

— Так я не ошибаюсь, — вскричал Рославлев, — это она!

— Тише, мой друг, тише! Так точно! Боже мой! это граф Сеникур!

— Да, это он! Прощай, Александр.

— Что ты, Владимир? Опомнись!

— Злодей! — продолжал Рославлев, устремив пылающий взор на полковника, — я оставил тебя ненаказанным; но ты был в плену, и я не видел Полины в твоих объятиях!.. А теперь... дай мне свою саблю, Александр!.. или нет!.. — прибавил он, схватив один из пистолетов Зарецкого, — это будет вернее... Он заряжен... слава богу!

Зарецкой соскочил с лошади и схватил за руку Рославлева.

— Пусти меня, пусти!.. — кричал Рославлев, стараясь вырваться.

— Слушай, Владимир! — сказал твердым голосом его приятель, — я здесь под чужим именем, и если буду узнан, то меня сегодня же расстреляют как шпиона.

— Как шпиона!..

— Да. Теперь ступай, если хочешь, к полковнику; я иду вместе с тобою.

Рославлев не отвечал ни слова; казалось, он боролся с самим собою. Вдруг сверкающие глаза его наполнились слезами, он закрыл их рукою, бросил пистолет, и прежде чем Зарецкой успел поднять его и сесть на лошадь, Рославлев был уже у стен Донского монастыря.

— Тише, — кричал Зарецкой, с трудом догоняя своего приятеля, — тише, Владимир! ты этак не дойдешь и до заставы.

— О, не беспокойся! — отвечал Рославлев, остановившись на минуту, чтоб перевести дух, — теперь я чувствую в себе довольно силы, чтоб уйти на край света. Вперед, мой друг, вперед!

Через несколько минут они были уже за Калужскою заставою; у самого въезда в слободу стоял человек с верховой лошадыю.

— Я капитан Данвиль, — сказал Зарецкой, подъехав к нему. — Отдай лошадь моему проводнику.

Слуга пособил Рославлеву сесть на коня, и наши приятели, выехав на чистое поле, повернули в сторону по первой проселочной дороге, которая, извиваясь между холмов, порытых рощами, терялась вдали среди густого леса.

ГЛАВА VI

Наши путешественники ехали сначала скорой рысью, наблюдая глубокое молчание; но когда на восьмой или девятой версте от города, миновав несколько деревень, они увидели себя посреди леса и уж с полчаса не встречали никого, то Зарецкой начал расспрашивать Рославлева обо всем, что с ним случилось со дня их разлуки.

— Ну, Владимир! — сказал он, дослушав рассказ своего друга, — теперь я понимаю, отчего побледнел Сеникур, когда вспомнил о своем венчанье... Ах, батюшки! да знаешь ли, что из этого можно сделать такую адскую трагедию а la madame Радклиф (в стиле мадам Радклиф (фр.)), что у всех зрителей волосы станут дыбом! Кладбище... полночь... и вдобавок сумасшедшая Федора... какие богатые материалы!.. Ну, свадьба!.. Я не охотник до русских стихов, а поневоле вспомнишь Озерова:

Там был не Гименей — Мегера там была... — то есть косматая Федора, которая, вероятно, ничем не красивее греческой фурии. Но вот чего я не понимаю, мой друг! Ты поступил как человек благоразумный: не хотел видеть изменницу, ссориться с ее мужем и, имея тысячу способов отмстить твоему беззащитному сопернику, оставил его в покое; это доказывает, что и в первую минуту твой рассудок был сильнее страсти. С тех пор прошло довольно времени; твое грустное положение и болезнь должны были тебя совершенно образумить, и, несмотря на это, ты готов был сейчас сделать величайшее дурачество в твоей жизни — и все для той же Полины! Конечно, что и говорить: она очень недурна собою, сложена прекрасно, и если сверх этого у ней маленькая ножка, то, может быть, и я сошел бы от нее с ума на несколько дней; но бесноваться целый месяц!..

— Ах, мой друг! — перервал Рославлев, — ты не знаешь, что такое любовь, ты не имеешь понятия об этом блаженстве и мучении нашей жизни! Да, Александр! Я и сам был уверен, что спокойствие возвратилось в мою душу. Несколько раз, испытывая себя, я воображал, что вижу Полину вместе с ее мужем, и мне казалось, что я могу спокойно смотреть на их взаимные ласки и даже радоваться ее счастью. Нет! Я обманывал самого себя. Когда сейчас я взглянул нечаянно на окно этого дома, когда увидел, что женщина, почти лежащая в объятиях французского полковника, походит на Полину, когда я узнал ее... О Александр! я почувствовал тогда... Да сохранил тебя бог от подобного чувства!.. Холодная, ледяная смерть по всем жилам — и весь ад в душе!.. Ах, мой друг! ты не знаешь еще, к каким мучениям способна душа наша, какие неизъяснимые страдания мы можем, и, вероятно, — прибавил тихим голосом Рославлев, — должны переносить, томясь в этой ссылке па этой каторге, которую мы называем жизнью!..

— И с которой, несмотря на это, даже и ты не захочешь расстаться! — перервал с улыбкою Зарецкой. — Полно, братец! Вы все, чувствительные меланхолики, пренеблагодарные люди: вечно жалуется на судьбу. Вот хоть ты; я желал бы знать, казалась ли тебе жизнь каторгою, когда ты был уверен, что Полина тебя любит?

— Но я ошибался, мой друг! — Да разве от этого ты менее был счастлив? Вот то-то и есть, господа! Пока все делается по-вашему, так вы еще и туда и сюда; чуть не так, и пошли поклепы на бедную жизнь, как будто бы век не было для вас радостной минуты.

— Но что все прошедшие радости...

— Перед настоящим горем?.. И, *mon cher!* и то и другое забывается. Конечно, я понимаю, для твоего самолюбия должно быть очень обидно...

— Эх, братец! какое самолюбие...

— Да, любезный, не прогневайся! Самолюбие в этом случае играет преобладающую роль. Что ни говори, а ведь досадно, как отобьют невесту; да только смешно от этого сходить с

ума: посердился, покричал и будет. Вот то-то же, поневоле похвалишь наших неприятелей. Кто лучше их умеет пользоваться жизнью?.. Француз не задохнется от избытка сердечной радости, да зато и не иссохнет от печали. Посмотри, как он весел, как всегда доволен собою, над всем смеется, все его забавляет. Заговорит дело — есть что послушать: все знает; заговорит вздор — также заслушаешься: какая веселость в каждом слове! И как милы эти фразы, в которых нет ни на волос здравого смысла! Конечно, и у них есть исключения, но они так редки... Печальный француз! не правда ли, что это даже странно слышать? А отчего они так счастливы?.. Оттого именно, что душа их не способна к сильным впечатлениям. Они... как бы это сказать по-русски?.. они слегка только прикасаются к жизни. Знаешь ли что, мой друг? Если ты хочешь непременно сравнивать с чем-нибудь жизнь, то сравни ее с морем; но только, бога ради, не с бурным, — это уже слишком старо!

— А с каким же, Александр?

— Да просто с нашим петербургским, когда оно замерзнет. Катайся по нем сколько хочешь, забавляй себя, но не забывай, что под этим блестящим льдом таится смерть и бездонная пучина; не останавливайся на одном месте, не надавливай, а скользи только по гладкой его поверхности.

— То есть не принимай ничего к сердцу, — перервал Рославлев, — не люби никого, не жалея ни о ком; беги от несчастного: он может тебя опечалить; старайся не испортить желудка и как можно реже думай о том, что будет с тобою под старость — то ли ты хотел сказать, Александр?

— О нет, мой друг! я не желаю быть эгоистом.

— И в то же время не хочешь ни о чем горевать? Да разве это возможно?

— Да, конечно... не спорю, тут есть, по-видимому, какое-то противоречие... Однако ж я не менее того уверен, что эта философия...

— Ничем не лучше моей. Что грех таить, Александр! у меня вырвалась глупость, а ты, желая доказать, что я вру, и сам заговорил вздор. По-моему, жизнь должна быть вечной ссылкой, а по-твоему, непрерывным праздником. Благодаря бога и то и другое для нас невозможно, Александр! Тот, кто вечно крушится, и тот, кто всегда весел, — оба эгоисты.

— Это почему?

— А потому, что человек, неспособный делить ни с кем ни радости, ни горя, — любит одного себя.

— Почему ж одного себя? Можно любить и приятеля — разумеется, до некоторой степени.

— А до какой степени простирается эта любовь к приятелю в человеке, который для того, чтоб с ним повидаться и спасти его...

— И полно, mon cher! что за важность! Ты видишь, я целехонек.

— Вижу, мой друг! Но, признаюсь, удивляюсь и желал бы знать, как ты уцелел?

— Ты еще более удивишься, когда узнаешь, что я, будучи в Москве, вызывал на дуэль капитана французских жандармов.

— Неужели?..

— Представь себе: он вздумал меня расспрашивать; я пустился ему лгать что есть мочи, и этот грубиян осмелился сказать мне в глаза, что я говорю неправду...

— Ах он невежа!..

— Разумеется, я вспыхнул, закидал его французскими фразами...

— И он не догадался, что ты русской?

— А почему бы он догадался?

— Да помилуй! Не может же быть, чтоб ты так хорошо говорил по-французски, как настоящий француз?

— Не может быть? Да знаете ли, сударь, как я был воспитан в доме своей тетушки? Знаете ли, кто с пятилетнего возраста был моим гувернером? Известна ли вам знаменитая фамилия аббата Григри, который плохо знал правописание, но зато говорил самым чистым парижским языком? Знаете ли, что я на десятом году не умел еще писать по-русски? Знаете ли, что весь Петербург дивился моему французскому выговору и все знакомые поздравляли тетушку с племянником, который как две капли воды походил на француза? Как теперь помню, добрая старушка всякой раз крестилась и говорила со слезами: «Слава богу! я знала наперед, что в Сашеньке будет путь!» Чему ж после этого удивляться, что меня приняли за француза?

— Хорошо, мой друг, согласен: по выговору не можно было догадаться, что ты русской; но нельзя же, чтоб не было в твоей манере и ухватках...

— В моей манере? Постой, братец, я сейчас представлю тебе лихого французского кавалериста, который только что вырвался из Пале-Рояля. Посмотрим, заметишь ли во мне хоть что-нибудь русское? Зарецкой развалился небрежно на седле, подбоченился и надел а la tarageur (набекрень (фр.)) свою французскую фуражку. В продолжение сих приготовлений к роле, которую он готовился играть, из-за куста выглянули две весьма некрасивые рожи: одна с рыжей бородою, а другая, по-видимому, обритая недели две тому назад и обезображенная огромным рубцом. Небольшой черный галстук, единственный остаток от прежнего наряда, доказывал, что это лицо принадлежало

какому-нибудь отставному солдату. Наши путешественники, не замечая этой засады, продолжали ехать потихоньку.

— Ну что? — спросил Зарецкой, отпустив несколько парижских фраз, — заметен ли во мне русской, который прикидывается французом? Посмотри на эту небрежную посадку, на этот самодовольный вид — а? что, братец?.. *Vive l'Empereur et la joie! Chantons!* (Да здравствует император и веселье! Споем! (фр.)) — Зарецкой пришпорил свою лошадь и, заставив ее сделать две или три лансады (прыжок, скачок (от фр. *lan cade*)), запел: *Enlant cheri des dames, J'etais en tout pays, Tres bien avec les femmes, Et mal avec les maris!* (Французские куплеты, которые лет двадцать тому назад были в большой моде, по крайней мере у нас в Петербурге. — Прим. автора. Любимец дам-красоток, В любом краю я был, С мужьями не короток. А женам очень мил! (Пер. Е. Куниной.))

Вдруг раздался выстрел, и человек десять вооруженных крестьян высыпало на дорогу. Прежде чем Зарецкой успел опомниться и рассмотреть, кто на них нападает, второй выстрел ранил лошадь, на которой ехал Рославлев; она закусила удила и понесла вдоль дороги. Зарецкой пустился вслед за ним; но в несколько минут потерял его совершенно из вида. Ослабевший от болезни Рославлев не мог долго управлять своей лошадью: выскакав на поляну, на которой сходились три дороги, она помчала его по одной из них, ведущей в самую глубину леса. Несколько раз принимался он снова ее удерживать, но все напрасно; наконец, проскакав еще версты две, она повалилась на землю. Рославлев, видя, что лошадь его издыхает, решился идти пешком по дороге, которая по всем приметам должна была скоро вывести его на жилое место.

Едва он успел сделать несколько шагов, как ему послышались в близком расстоянии смешанные голоса; сначала он не мог ничего разобрать и не знал, должен ли спрятаться или идти навстречу людям, которые, громко разговаривая меж собою, шли по одной с ним дороге. Вдруг ясно выговоренный немецкой швернот (черт возьми.) раздался от него в двух шагах, и кто-то повелительным голосом закричал: «*Allons, sacristie! en avant!*» (Ну же, черт возьми! вперед! (фр.)) Рославлев кинулся в сторону, но было уже поздно: из-за кустов показалась целая толпа неприятельских мародеров.

— Гальт! (Стой! (от нем. *halt*)) — закричал высокой баварской кирасир, прицелясь в него своим карабином.

Человек двадцать солдат разных полков и наций окружили Рославлева. — Господа! чего вы от меня хотите? — сказал Рославлев по-французски, — я бедный прохожий...

— Бедный? — заревел на дурном французском языке баварец, — а вот мы тотчас это увидим.

— Вы все бедны! — запищал итальянской вольтижер (Егерь, стрелок. — Прим. автора.), схватив за ворот Рославлева. — Знаем мы вас, господа русские — maledeto! (проклятье! (ит.))

— Тише, товарищи! — сказал повелительным голосом французской гренадер, — не обижайте его: он говорит по-французски.

— Так что ж? — возразил другой французской полупьяный солдат в уланском мундире, сверх которого была надета изорванная фризловая шинель. — Может быть, этот негодяй эмигрант.

— В самом деле? — перервал важным голосом гренадер.— — Прочь все! Посторонитесь! Я допрошу его.

— Per dio sacrato! (Клянусь богом! (ит.)) Что это? — вскричал итальянец, — на этом еретике крест.

— Так он не француз? — сказал с презрением солдат в фризловой шинели.

— Да еще и золотой! — продолжал итальянец, сорвав с шеи Рославлева крест, повешенный на тонком шнурке.

— Оставишь ли ты его в покое? Sacre italien! (Чертов итальянец! (ит.)) — вскричал гренадер, оттолкнув прочь итальянца.

— Не бойтесь ничего и отвечайте на мои вопросы: кто вы?

— Московский мещанин.

— Вы русской?

— — Да!

— Отчего вы говорите по-французски?

— Я учился.

— Хорошо! это доказывает, что вы уважаете нашу великую нацию... Тише, господа! прошу его не трогать! Не можете ли вы нам сказать, есть ли вооруженные люди в ближайшей деревне?

— Не знаю.

— Не знаешь? Доннер-веттер! (Гром и молния! (нем.)) — заревел баварец. — Как тебе не знать? Говори!

— Я шел все лесом и ни в одной деревне не был.

— Он лжет! — закричал итальянец. — Прикладом его, согро de dio! (клянусь телом господним! (ит.)) так он заговорит.

— Тише, господа! — перервал гренадер. — Этот варвар уважает нашу нацию, и я никому не дам его обидеть.

— В самом деле? — сказал баварец. — А если я хочу его обижать?

— Не советую.

— Право? Да что ж ты этак поговариваешь?.. Уж не думаешь ли ты, что баварской кирасир не стоит французского гренадера?

— Как? черт возьми! Ты смеешь равняться с французским солдатом?.. *Ce miserable allemand!* (Этот презренный немец! (фр.)) Да знаешь ли ты?..

— Я знаю, что должен повиноваться моему капитану, но если всякой французской солдат...

— Да знаешь ли ты, животное, что такое французской гренадер? Знаешь ли ты, что между тобой и твоим капитаном более расстояния, чем между мной и баварским королем?

— Что, что?

— Да! такой болван, как ты, никогда не будет капитаном; а каждый французской гренадер может быть вашим государем.

— Хоц таузент!.. (Проклятье!.. (нем.)) Да это как?

— А вот как: мой родной брат из сержантов в одну кампанию сделался капитаном — правда, он отнял два знамя и три пушки у неприятеля; но разве я не могу взять дюжины знамен и отбить целую батарею: следовательно, буду по крайней мере полковником, а там генералом, а там маршалом, а там — при первом производстве — и в короли; а если на ту пору вакансия случится у вас...

— Правда, правда — *il a raison!* (он прав! (фр.)) — закричали все французские солдаты.

— Ну, немецкая харя! — продолжал гренадер, — понял ли ты теперь, что значит французской солдат.

Баварец, закиданный словами и совершенно сбитый с толку, не отвечал ни слова.

— Господа! — сказал гренадер, — не надобно терять времени — до Москвы еще далеко; ступайте вперед, а мне нужно кой о чем расспросить по секрету этого русского. *Allons, morbleu avancez donc!* (Вперед, черт возьми, двигайтесь! (фр.))

Вся толпа двинулась вперед по дороге, а гренадер, подойдя к Рославлеву, сказал вполголоса:

— Не бойтесь!.. Француз всегда великодушен... но вы знаете права войны... Есть ли у вас деньги?

— Я охотно отдам все, что у меня есть.

— Не беспокойтесь! — продолжал гренадер, обшаривая кругом Рославлева, — я возьму сам... Книжник!.. ну, так и есть, ассигнации! Терпеть не могу этих клочков бумаги: они имеют только цену у вас, а мы берем здесь все даром... Ага! кошелек!.. серебро... прекрасно!.. золото!! *C'est charmant!* Прощайте!

— Лавалёр!.. Ну что ж ты? — сказал французской улан, идя, навстречу к гренадеру. — Ты один знаешь здешние места — куда нам идти?

— Все прямо.

— Да там две дороги.

— Не, может быть.

— Когда я тебе говорю, что две...

— Да это оттого, что у тебя двоится в глазах.

— Неправда. Вот, например, я вижу, что на этом русском только, одна, а не две шинели, и для того не возьму ее, а поменяюсь. Мой плащ вовсе не греет... Эге! да это, кажется, шуба?.. Скидай ее, товарищ!

Рославлев повиновался; улан сбросил с себя фризтовую шинель и надел его сибирку.

— Однако ж русские не вовсе глупы, — сказал он, уходя вместе с гренадером, — и если они сами изобрели эти шубы, то, черт возьми! эта выдумка недурная!

Когда Рославлев потерял из вида всю толпу мародеров и стал надевать оставленную французом шинель, то заметил, что в боковом ее кармане лежало что-то довольно тяжелое; но он не успел удовлетворить своему любопытству и посмотреть, в чем состояла эта неожиданная находка: в близком от него расстоянии раздался дикой крик, вслед за ним загремели частые ружейные выстрелы, и через несколько минут послышался шум от бегущих по дороге людей.

Рославлеву не трудно было отгадать, что французские мародеры повстречались с толпою вооруженных крестьян, и в то самое время, как он колебался, не зная, что ему делать: идти ли вперед или дожидаться, чем кончится эта встреча, — человек пять французских солдат, преследуемых крестьянами, пробежали мимо его и рассыпались по лесу.

— Вот еще один! — вскричал молодой парень, указывая на Рославлева.

— Пришиби его! — заревел высокой мужик с рыжей бородою, и вмиг целая толпа вооруженных косами, ружьями и топорами крестьян окружила Рославлева.

ГЛАВА VII

Поосреди большого села, на обширном лугу, или площади, на которой разгуливали овцы и резвились ребяташки, стояла ветхая деревянная церковь с высокой колокольнею. У дверей ее, на одной из ступеней поросшей травой лестницы, сидел старик лет восьмидесяти, в зеленом сюртуке с красным воротником, обшитым позументом; с полдюжины медалей, различных форм и величины, покрывали грудь его. Он разговаривал с молодым человеком, который стоял перед ним и по наряду своему, казалось, принадлежал к духовному званию.

— Нет, Александр Дмитрич! — говорил старик, покачивая головою, — рано ли, поздно ли, а несдобровать нашему селу; чай, злодеи-то больно на нас зубы грызут.

— Оно и есть за что! — сказал молодой человек, — ведь мы у них как бельмо на глазу. Да бог милостив! Кой-как до сих пор с ними справлялись. Fortes fortuna abjuvat, то есть: смелым бог владеет, Кондратий Пахомыч!

— Конечно, батюшка, за правое дело бог заступа; а все-таки, как проведуют в Москве, что в нашем селе легло сот пять, шесть французов, да пришлют сюда полка два...

— Так что ж? Будем драться.

— Вот то-то и горе! Вы станете драться, а я что буду делать? Протягивай шею, как баран.

— Эх, Кондратий Пахомыч! Да на людях и смерть красна!

— Не о смерти речь, батюшка! Когда вы, народ молодой, себя не жалеете, так мне ли, старику, торговаться; да каково подумать, что эти злодеи наругаются над моей седой головою? Пожалуй, на смех живого оставят. Эх, старость, старость! Как бы прежние годы, так я бы трех поджарых французов на один штык посадил. Небось турки их дюжее, да и тех, бывало, как примусь нанизывать, так господи боже мой! считать не успевают. Вот как мы с батюшкой, графом Суворовым, штурмовали Измаил... Тогда был нашим капитаном его благородие Сергей Дмитрич, царство ему небесное! Отец, а не командир! И что за молодец!.. как теперь гляжу — мигнуть не успели, а уж наш сокол на стене, вся рота за ним — ура!..

— Ты уж мне это рассказывал, Кондратий Пахомович!

— Вот, батюшка, тогда дело другое: и подраться-то было куражнее! Знал, что живой в руки не дам; а теперь что я?.. малой ребенок одолеет. Пробовал вчера стрелять из ружья

— куда-те? Так в руках ходуном и ходит! Метил в забор, а подстрелил батькину корову. Да что отец Егор, вернулся, что ль?

— Нет еще. Я слышал, будто бы его французы в полон захватили.

— Ах они разбойники! Уж и попов стали хватать! А того не подумают, басурманы, что этак наш брат старик и без исповеди умрет.

— Видно, узнали, что он из нашего села. Ведь французы-то называют нас бунтовщиками.

— Бунтовщиками? Ах они проклятые! да как бы они смели это сказать? Разве мы бунтуем против нашего государя? Разве мы их гладим по головке?

— В том-то и дело, что не гладим. Они говорят: Tui, quid nihil refert, ne cures, то есть: не мешайся не в свое дело, а мы толкуем: cuneus cuneum trudit, сиречь — клин клином выбивают.

— Эх, батюшка! да перестанешь ли ты говорить не по-русскому?

— Привык, Пахомыч! У нас на Перерве без латинской пословицы ступить нельзя.
— Да что вы в Перервинском монастыре все латыши, что ль, а не русские? Знаешь ли, как это не по нутру нашим мужичкам? Что, дискать, за притча такая? Кажись, церковник-то, что к нам пристал, детина бравый, а все по-французскому говорит.

— По-французскому! Невежды!..

— Александр Дмитрич! — раздался голос с колокольни, — никак, наши идут.

— Наши ли, Андрюша? — сказал семинарист, подняв кверху голову. — Посмотри-ка хорошенько!

— Точно наши. Вот впереди Ерема косой да солдат Потапыч; они ведут какого-то чужого: никак, француза изловили.

— Наверяд француза, — сказал, покачав головой, старый унтер-офицер. — Они бы уж его дорогою раз десять уходили; а не захватили ли они, как ономнясь бронницкие молодцы, какого-нибудь изменника или шпиона?

— Что ты, Пахомыч! Боже сохрани! Будет с нас и того, что один русской осрамился и служил нашим злодеям.

— Эх, батюшка! в семье не без урода.

— Вот уж наши ребята из-за рожи показались. Пойдем, Кондратий Пахомыч, в мирскую избу. Если они в самом деле захватили какого-нибудь подозрительного человека, так надобно его порядком допросить, а то, пожалуй, у наших молодцов и правый будет виноват: *auri est bonus...* (по золоту хорош... (лат.))

— Да полно тебе язык-то коверкать!.. — перервал с досадою старик. — Что за латыш, в самом деле? Смотри, Александр Дмитрич, несдобровать тебе, если ты заговоришь на мирской сходке этим чухонским наречием.

— Чухонским! — повторил сквозь зубы семинарист. — Чухонским!.. *Ignarus barbarus!* (Невежда, варвар!.. (лат.))

— Полно бормотать-то: ведь я дело говорю. Пойдем! А ты, Андрюша, — продолжал инвалид, обращаясь к молодому парню, который стоял на колокольне, — лишь только завидишь супостатов, тотчас и давай знать. Пойдем, Александр Дмитрич!

Мирская изба, построенная на том же лугу, или площади, против самой церкви, отличалась от прочего жилья только тем, что не имела двора и была несколько просторнее других изб. Когда инвалид и семинарист вошли в эту управу сельского благочиния, то нашли уже в ней человек пять стариков и сотника. Сержант и наш ученый латинист, поклонясь присутствующим, заняли передний угол. Через несколько минут вошли в избу отставной солдат с ружьем, а за ним широкоплечий крестьянин с рыжей бородою, вооруженный также ружьем и большим поварским ножом, заткнутым за пояс. В сенях и

вокруг избы столпилось человек двести крестьян, по большей части с ружьями, отбитыми у французских солдат.

— Ну что, братцы? — спросил сотник, — захватили ли вы в селе Богородском французов?

— Нет-ста, Никита Пахомыч! — отвечал рыжий мужик. — Ушли, пострелы! А бают, они с утра до самых полуден уж буянили, буянили на барском дворе. Приказчика, в гроб заколотили. Слышь ты, давай им все калачей, а на наш хлеб так и плюют.

— Ах они безбожники! — вскричал сотник, — плевать на дар божий! Эка нехристь проклятая!

— Вишь какие прихотники! — сказал один осанистый крестьянин в синем кафтане, — трескали б, разбойники, то, что дают. Ведь матушка-рожь кормит всех дураков, а пшеничка по выбору.

— Народ-то в Богородском такой несмышленный! — примолвил рыжий мужик — Гонца к нам послали, а сами разбежались по лесу. Им бы принять злодеев-то с хлебом и с солью, да пивца, да винца, да того, да другого — убаюкали бы их, голубчиков, а мы бы как тут! Нагрянули врасплох да и катать их чем ни попало.

— Как мы шли назад, — сказал отставной солдат, — так наткнулись в лесу на французов, на тех ли самых, на других ли — лукавый их знает!

— Ну что, ребяташки? — вскричал сержант, — расчесали, что ль, их?

— Как пить дали, Кондратий Пахомыч!

— Неужли-то и отпору вам не было?

— Как не быть! Мы, знаешь, сначала из-за кустов как шарахнули! Вот они приостановились, да и ну отстреливаться; а пуще какой-то в мохнатой шапке, командир что ль, их, так и загорланил: алон, камрат! Да другие-то прочие не так, чтоб очень: все какая-то вольница; стрельнули раза три, да и врассыпную. Не знаю, сколько их ушло, а кучка порядочная в лесу осталась.

— Что за притча такая? — сказал сотник, — откуда берутся эти французы? Бьем, бьем — а все их много!

— Видно, сват Пахомыч, — перервал крестьянин в синем кафтане, — они как осенние мухи. Да вот погоди! как придет на них Егорей с гвоздем да Никола с мостом, так все передохнут.

— Мы, Пахомыч, — сказал рыжий мужик, — захватили одного живьем. Кто его знает? баит по-нашему и стоит в том, что он православный. Он наговорил нам с три короба: вишь, ушел из Москвы, и русской-то он офицер, и вовсе не якшается с нашими злодеями, и то и се, и дьявол его знает! Да все лжет, проклятый! не верьте; он притоманный француз.

— А почему ж ты это думаешь? — спросил семинарист. — Ну, если в самом деле говорит правду?

— Правду? Так коего ж черта ему было таскаться вместе с французами!

— Но разве он не мог с ними повстречаться так же, как и вы?

— А зачем же он, — перервал солдат, — вот этак с час назад ехал верхом вместе с французским офицером? Ян лошадь-то его подстрелил.

— Как с французским офицером!

— Да так же!

— Но почему ты знаешь, что этот офицер французской?

— Почему знаю? Вот еще что! Нет, господии церковник! мы получше твоего знаем французские-то мундиры: под Устерлицем я на них насмотрелен. Да, и станет ли русской офицер петь французские песни? А он так горло и драл.

— А тот, что мы захватили, ему подтягивал, — примолвил рыжик мужик, — я сам слышал.

— Я хоть и не слышал, — перервал солдат, — да видел, что они ехали дружно, рядышком, словно братья родные.

— Так что ж и калякать? — вскричал сотник. — Вестимо, он француз: не так ли, православные?

— Так, Никита Пахомыч! Так! — повторили все старики.

— А если француз, — примолвил один лысый старик, — на осину его!

— Как бы не так! — перервал сотник, — еще веревку припасай. В колодезь к товарищам, так и концы в воду.

— Ей, не торопись, ребята! — сказал семинарист. — *Melior est consulta...* (Лучше посоветоваться... (лат.))

— Что ты, сумасшедший, перестань! — шепнул сержант, дернув за рукав своего соседа.

— Православные? — продолжал он, — послушайте меня, старика: чтоб не было оглядок, так не лучше ли его хорошенько допросить?

— Да, скажет он тебе правду, дождайся! — перервал лысый старик.

— Погодите, братцы! — заговорил крестьянин в синем кафтане, — коли этот полоненник доподлинно не русской, так мы такую найдем улику, что ему и пикнуть неча будет. Не велика фигура, что он баит по-нашему: ведь французы на все смышлены, только бога-то не знают. Помните ли, ребята, ономясь, как мы их сотни полторы в одно утро уходили, был ли хоть на одном из этих басурманов крест господень?

— Ни на одном не было, Терентий Иваныч! — отвечал сотник, — я сам видел.

— Так и на этом не будет, коли он француз; а если православный, так носит крест — не правда ли?

— Правда, Терентий Иваныч, правда! — повторили все присутствующие. — Так давайте же его сюда. Посмотрим, есть ли у него на шее-то отцовское благословление?

Два крестьянина, вооруженные топорами, ввели Рославлева в избу.

— Ваня! — сказал Терентий одному из них, — расстегни-ка ему ворот у рубахи — вот так!

— Что вы делаете, ребята? — перервал Рославлев. — Я точно русской!

— Ладно, брат! увидим-ста, русской ли ты. Ну что, Ваня, есть ли на нем крест? — спросил сотник.

— Не, Пахомыч! — ни креста, ни образа!

— Видите, православные! — сказал рыжий Ерема.

— Чего же вам еще?

— В колодезь его! — завопили почти все крестьяне.

— Послушайте, братцы! — вскричал Рославлев, — видит бог, на мне был крест, да меня ограбили французы.

— Что с ним растабарывать! — подхватил сотник. — Тащите его! в колодезь!

— Да что вам дался колодезь? — перервал Ерема, — И так все колодцы перепортили. Много ли ему надобно? Эй, Ваня, что ты смотришь басурману-то в зубы? Обухом его!

— И то правда! — закричали другие мужики. — Пришиби его!

Один из крестьян, которые караулили Рославлева, вынул из-за пояса свой топор.

— Пойдите, детушки! — перервал сержант. — Эк у вас руки-то расходились! Убить недолго. Ну, если его в самом деле ограбили французы?..

— И он действительно русской офицер? — примолвил семинарист.

— А это что? — вскричал Ерема, вынимая из бокового кармана Рославлевой шинели кошелек с деньгами. — Что, брат? видно, они тебя грабили, да не дограбили? Смотрите, православные! И деньги-то не наши.

— Эта шинель не моя, — сказал Рославлев. — Один из французов поменялся со мной насильно.

— А деньги-то дал впридачу, что ль? — закричал Ерема. — Ах ты, проклятый басурман! Что мы тебе, олухи достались? Да что с тобой калякать? Ваня!хвати его по маковке!.. Что ж ты?.. Полно, брат, не переминайся! а не то я сам... — примолвил Ерема, вынимая из-за пояса свой широкой нож.

— Погоди, кум, не торопись! — сказал Иван. — Послушай-ка, молодец: ты баишь, что с тебя сняли крест французы. Ну! а какой он был? деревянный или серебряный?

— Нет, золотой! — отвечал Рославлев.

— Ладно. А на каком он висел гайтане — на черном или красном?

— Нет, на зеленом шелковом снурке.

— Что, ребята, ведь он баит правду: вот и крест; я вынул его из кармана у одного убитого француза.

— Да поверьте мне, братцы! — сказал Рославлев, — я вас не обманываю: я точно русской офицер.

— И впрямь, православные! — примолвил Терентий, — уж не русской ли он?

— Точно русской! — подхватил семинарист.

— А если русской, — возразил отставной солдат, — так он изменник!

— Изменник! — повторил в негодованием Рославлев.

— Вестимо, изменник! — закричал Ерема. — Ради чего ты ехал с французским офицером— а?

— Мой товарищ также русской офицер, а нарядился французом для того, чтоб выручить меня из Москвы.

— Эх с чем подъехал! На вас пошлюсь, православные: ну станет ли русской офицер петь эти басурманские песни?

— Вестимо, не станет! — закричали крестьяне.

— Клянусь вам богом, ребята! — продолжал Рославлев, — я и мой товарищ — мы оба русские. Он гусарской ротмистр Зарецкой, а я гвардии поручик Рославлев.

— Рославлев! — повторил с необычайною живостью сержант. — А как звали вашего батюшку?

— Сергеем Дмитричем.

— Не припомните ли, сударь! где он изволил служить капитаном?

— Он служил капитаном при Суворове, в Фанагорийском полку.

— Ну, так и есть! — воскликнул с радостью сержант, вскочив со скамьи. — Ваше благородие! ведь батюшка ваш был моим командиром, и мы вместе с ним штурмовали Измаил.

— Слышите ль, братцы! — сказал семинарист.

— Слышим-ста! — отвечал Ерема, — да нам-то что до этого?

— Как что? — перервал сержант, — да разве сын моего командира может быть изменником? Ну, статочное это дело? Не правда ли, детушки?

Все крестьяне встали с своих мест, поглядывали друг на друга; один почесывал голову, другой пожимался; но никто не отвечал ни слова.

— Что это, братцы? — продолжал сержант, — неужели-то вы и мне, старику, верить не хотите?

— Верить-та мы тебе верим, — отвечал Ерема, — да ведь не все сыновья в отцов рождаются, Пахомыч!

— Всяко бывает, конечно, — примолвил Терентий, — да ведь недаром же и пословица: недалеко яблочко от яблони падает. Ну, как вы думаете, православные?

— Как ты, Терентий Иванович? — отвечали сотник и старики. — А по мне, вот как: уж если Кондратий Пахомыч за него порукою, так нам и баить нечего. Поклон его благородию, да милости просим в передний угол! Так ли, православные?

— Ну, коли так, так так! — повторили в один голос крестьяне. — Милости просим, батюшка!

— Ваня! — сказал Терентий, — сбегай ко мне да принеси-ка жбан браги, каравай хлеба и спроси у Андревны пирог с кашею: чай, его милость проголодаться изволил.

— Забеги и к моей старухе, — примолвил сотник, — да возьми у нее штоф Ерофеичу.

— Благодарю вас, добрые люди! — сказал Рославлев, — я хоть и не обедал, а мне что-то есть не хочется.

— Чу!.. — вскричал сотник, — что это?

— Французы! Французы! — загремели сотни голосов на улице. Все бросились опрометью из избы, и в одну минуту густая толпа окружила колокольню.

— Эй, Андрюша! где французы? — спросил сотник.

— Вон там, у дальней засеки, — отвечал мальчик.

— Много ли их?

— Много, Пахомыч! и конных и пеших видимо-невидимо.

— Ну, ребята! — сказал сержант, — смотрите, стоять грудью за нашу матушку святую Русь и веру православную.

— Стоять-то мы рады, — перервал сотник, — да слышишь, Кондратий Пахомыч, — их идет несметная сила?

— Так что ж?

— Не одолеешь, кормилец! много ли нас?

— Да и французов-то, верно, не больше, — сказал Рославлев, — они растянулись по дороге, так издали и кажется, что их много.

— Ох, батюшка! — подхватил Терентий, — хитры они, злодеи! не пошлют мало. Ведь они, басурманы, уж давным-давно до нас добираются.

— Ну, православные! — сказал Пахомыч, — говорите, что делать?

Ни один голос не отозвался на вопрос сотника. Все крестьяне поглядывали молча друг на друга, и на многих лицах ясно изображались недоумение и робость...

— Эх, худо дело! — шепнул сержант. — Ваше благородие! — продолжал он, обращаясь к Рославлеву, — не принять ли вам команды? Вы человек военный, так авось это наших ребят покуражит. Эй, братцы, сюда! слушайте его благородия!

— Как так? Что такое? Да разве он не француз? — заговорили крестьяне.

— Нет, детушки! Его благородие — русской офицер, сын моего бывшего капитана.

— Ой ли? Вот-те раз! Слышите, ребята!.. Вот что!.. — загремели восклицания из удивленной толпы.

— Друзья! — сказал Рославлев, — чего хотите вы? Покориться ли злодеям нашим или биться с ними до последней капли крови?.. Ну, что ж вы молчите?

— Да вот что, — сказал один крестьянин, — Андрюха-то говорит, что их больно много.

— Так что ж, ребята? — подхватил семинарист, — хоть покоримся, хоть нет, а все нам от них милости никакой не будет: мало ли мы их передушили!

— Вестимо, — сказал отставной солдат, — мы им пардону не давали, так и они нам не дадут.

— А если б и дали, — возразил Рославлев, — так не грешно ли вам будет выдать руками жен и детей ваших? Эх, братцы! уж если вы начали служить верой и правдой царю православному, так и дослуживайте! Что нам считать, много ли их? Наше дело правое — с нами бог!

— А с ними черт! — заревел Ерема. — Что в самом деле, драться так драться.

— Так за мной, православные! — воскликнул отставной солдат. — Ура! за батюшку царя и святую Русь!

— Ура! — подхватила вся толпа.

— Весь в покойника! — шептал потихоньку сержант, глядя на Рославлева, — как две капли воды!

— Теперь слушайте, ребята! — продолжал Рославлев. — Ты, я вижу, господин церковник, молодец! Возьми-ка с собой человек пятьдесят с ружьями да засядь вон там в кустах, за болотом, около дороги, и лишь только неприятель вас минует...

— Так мы вдогонку и откроем по нем огонь? Понимаю, господин офицер. Это вроде тех засад, о коих говорит Цезарь в комментариях своих *de bello Gallico*...

— Да полно, Александр Дмитрич! — закричал сержант. — Эх тебе нейдет!

— Ты, служивый, и ты, молодец, — продолжал Рославлев, обращаясь к отставному солдату и Ереме, — возьмите с собой человек сто также с ружьями, ступайте к речке, разломайте мост, и когда французы станут переправляться вброд...

— То мы из-за деревьев пустим по них такую дробь, — перервал солдат, — что им и небо с овчинку покажется.

— А мы с тобой, сослуживец моего батюшки, — примолвил Рославлев, взяв за руку сержанта, — с остальными встретим неприятеля у самой деревни, и если я отступлю хоть на шаг, так назови мне по имени прежнего твоего командира, и ты увидишь — сын ли я его! Ну, ребята, с богом! Крестьяне, зарядив свои ружья, отправились в назначенные для них места, и на лугу осталось не более осьмидесяти человек, вооруженных по большей части дубинами, топорами и рогатинами. К ним вскоре присоединилось сотни три женщин с ухватами и вилами. Ребятишки, старики, больные — одним словом, всякой, кто мог только двигаться и подымать руку, вооруженную чем ни попало, вышел на луг. В глубокой тишине, изредка прерываемой рыданиями и молитвою, стояла вся толпа вокруг церкви.

— Что, Андрюша? — закричал наконец сержант, — близко ли наши злодеи? — Близехонько, крестной! — отвечал с колокольни мальчик, — на самом выгоне — вон уж поравнялись с нашими, что засели на болоте; да они их не видят... Впереди едут конные... в железных шапках с хвостами... Крестной! крестной! да на них и одежда-та железная... так от солнышка и светит... Эва! сколько их!.. Вот пошли пешие!.. Эге! да народ-то все мелкой, крестной! Наши с ними справятся...

— То-то ребячьи простота! — сказал сержант, покачивая головою. — Эх, дитяtko! ведь они не в кулачки пришли драться; с пулей да штыком бороться не станешь; да бог милостив!

— Кондратий Пахомыч! — закричал мальчик, — они подъехали к речке... остановились... вот человек пять выехало вперед... стали в кучку... Эх, какой верзила! Ну, этот всех выше!.. а лошадь-то под ним так и пляшет!.. Видно, это их набольший... Вдруг вдали раздался залп из ружьев, и вслед за ним загремели частые выстрелы по сю сторону речки, на берегу которой стояли французы.

— Помоги, господи! — сказал сержант, перекрестясь.

— Крестной! — закричал мальчик, — наша взяла! Длинной-то упал с лошади; вон и другие стали падать... Да что это? Они не бегут!.. Вот и они принялись стрелять... Ну, все застлало дымом: ничего не видно. Минут двадцать продолжалась жаркая перестрелка; потом выстрелы стали реже, раздался конской топот, и мальчик закричал:

— Крестной, крестной! никак, наших гонят назад.

— Вперед, друзья! — воскликнул Рославлев; но в ту же самую минуту показались на улице бегущие без порядка крестьяне, преследуемые французскими латниками.

— За мной, ребята, на паперть! — закричал Рославлев.

Сержант и человек тридцать крестьян, вооруженных ружьями, кинулись вслед за ним, а остальные рассыпались во все стороны. Неприятельская конница выскакала на площадь.

— Ну, братцы! — сказал Рославлев, — если злодеи нас одолеют, то, по крайней мере, не дадимся живые в руки. Стреляйте по конным, да метьте хорошенько!

В полминуты человек десять латников слетело с лошадей.

— Славно, детушки! — вскричал сержант, — знатно! вот так!.. Саржируй! то есть заряжай проворней, ребята. Ай да Герасим!.. другова-то еще!.. Смотри, вот этого-то, что юлит впереди!.. Свалил!.. Ну, молодец!.. Эх, брат! в фанаторийцы бы тебя!..

— Старик! — сказал вполголоса Рославлев; — думал ли ты на штурме Измаила, что умрешь подле сына твоего капитана?

— Авось не умрем, — отвечал сержант, — бог милостив, ваше благородие!

— Да, мой друг! Он точно милостив! Страдания наши не будут продолжительны. Смотри! Старик устремил свой взор в ту сторону, в которую показывал Рославлев: густая колонна неприятельской пехоты приближалась скорым шагом к площади. — Ребята! — вскричал сержант, — стыдно и грешно старому солдату умереть с пустыми руками: дайте и мне ружье!

Вдруг дикой, пронзительный крик пронесся от другого конца селения, и человек двести казаков, наклоня свои дротики, с визгом промчались мимо церкви. В одну минуту латники были смяты, пехота опрокинута, и в то же время русское «ура!» загремело в тылу французов человек триста крестьян из соседних деревень и семинарист с своим отрядом ударили в расстроенного неприятеля. С четверть часа, окруженные со всех сторон, французы упорно защищались; наконец более половины неприятельской пехоты и почти вся конница легли на месте, остальные положили оружие.

В продолжение этого короткого, но жаркого дела Рославлев заметил одного русского офицера, который, по-видимому, командовал всем отрядом; он летал и крутился, как вихрь, впереди своих наездников: лихой горской конь его перепрыгивал через кучи убитых, топтал в ногах французов и с быстротою молнии переносил его с одного места на другое. Когда сражение кончилось и всех пленных окружили цепью казаков; едва успевающих отгонять крестьян, которые, как дикие звери, рыскали вокруг побежденных, начальник отряда, окруженный офицерами, подъехал к церкви. При первом взгляде на его вздернутый кверху нос, черные густые усы и живые, исполненные ума и веселости глаза Рославлев узнал в нем, несмотря на странный полуказачий и полукрестьянской наряд,

старинного своего знакомого, который в мирное время — певец любви, вина и славы — обворожал друзей своей любезностью и добродушием; а в военное, как ангел-истребитель, являлся с своими крылатыми полками, как молния, губил и исчезал среди врагов, изумленных его отвагою; но и посреди непрерывных тревог войны, подобно древнему скальду, он не оставлял своей златострунной цевницы: ...Славил Марса и Темиру И бранную повесил лиру Меж верной сабли и седла. — Это ты, — раздался знакомый голос на церковной паперти. — Ты жив, мой друг? Слава богу! — Рославлев обернулся; — перед ним стоял Зарецкой в том же французском мундире, но в русской кавалерийской фуражке и форменной серой шинели.

ГЛАВА VIII

— Нет, братец, решено! ни русские, ни французы, ни люди, ни судьба, ничто не может нас разлучить. — Так говорил Зарецкой, обнимая своего друга.

— Думал ли я, — продолжал он, — что буду сегодня в Москве, перебранюсь с жандармским офицером, что по милости французского полковника выеду вместе с тобою из Москвы, что нас разлучат русские крестьяне, что они подстрелят твою лошадь и выберут тебя потом в свои главнокомандующие?..

— Прибавь, мой друг! — перервал Рославлев, — что с час тому назад они хотели упрятать своего главнокомандующего в колодезь.

— За что?

— А за то, что приятель, с которым он ехал, поет хорошо французские куплеты.

— Неужели?

— Да, братец; они верить не хотели, что я русской

— Ах они бородачи! Так поэтому, если б я им попался...

— То, верно, бы тебе пришлось хлебнуть колодезной водицы.

— Вот, черт возьми! а я терпеть не могу и нашей невиской. Пойдем-ка, братец, выпьем лучше бутылку вина: у русских партизанов оно всегда водится.

— Ты как попал сюда, Александр? — спросил Рославлев, сходя вместе с ним с паперти. — Нечаянным, но самым натуральным образом! Помнишь, когда ранили твою лошадь и ты помчался от меня, бешеный? В полминуты я потерял тебя из вида. Проплутав с полчаса в лесу, я повстречался с летучим отрядом нашего общего знакомого, который, вероятно, не ожидает увидеть тебя в этом наряде; впрочем, и то сказать, мы все трое в маскарадных платьях: хорош и он! Разумеется, передовые казаки сочли меня сначала за французского офицера. Несмотря на все уверения в противном, они обшарили меня кругом и принялись было раздевать; но, к счастью, прежде чем успели кончить мой туалет, подъехал, их

отрядный начальник: он узнал меня, велел отдать мне все, что у меня отняли, заменил мою синюю шинель и французскую фуражку вот этими, и хорошо сделал: в этом полурусском наряде я не рискую, чтоб какой-нибудь деревенской витязь застрелил меня из-за куста, как тетерева. Проезжая недалеко от здешнего селения, мы услышали перестрелку; не трудно было догадаться, что это шалют французские фуражиры. Мы пустились во всю рысь и, как видишь, подоспели в самую пору. Жаль мне их, сердечных! Дрались, дрались, а не поживятся ни одним теленком.

— Да неужели это в самом деле фуражиры? Их что-то очень много.

— Целый батальон пехоты и эскадрон конницы.

— Кто ж посылает фуражировать такие сильные отряды?

— Кто? да французы. Ты жил затворником у своего Сезёмова и ничего не знаешь: им скоро придется давать генеральные сражения для того только, чтоб отбить у нас кулей десять муки.

У мирской избы сидел на скамье начальник отряда и некоторые из его офицеров. Кругом толпился народ, а подле самой скамьи стояли сержант и семинарист. Узнав в бледном молодом человеке, который в изорванной фризовой шинели походил более на нищего, чем на русского офицера, старинного своего знакомца, начальник отряда обнял подружески Рославлева и, пожимая ему руку, не мог удержаться от невольного восклицания:

— Боже мой! как вы переменились!

— Он очень был болен, — сказал Зарецкой.

— Это заметно. А запретил ли вам лекарь пить вино?

— Моим лекарем была одна молодость, — сказал с улыбкой Рославлев.

— О! так с этим медиком можно ладить! Эй, Жигулин! бутылку вина! Не знаю, хорошо ли: я еще его не пробовал.

— Я вам поручаю, что, хорошо, — сказал один смугловатый и толстый офицер в черкесской бурке.

— Его везли в Москву для Раппа; а говорят, этот лихой генерал также терпеть не может дурного вина, как не терпит трусов.

— Да где наш сорвиголова? — спросил начальник отряда. — Старик есаул? Он отправляет пленных в главную квартиру.

— Скажи ему, брат, чтоб он поторапливался: мы здесь слишком близко от неприятеля. Офицер в бурке встал и пошел к толпе пленных, которых обезоруживали и строили в колонну.

— Ну, православные! — продолжал начальник отряда, обращаясь к крестьянам, — исполать вам! Да вы все чудо-богатыри! Смотрите-ка, сколько передушили этих буянов!

Славно, ребята, славно!.. и вперед стойте грудью за веру православную и царя-государя, так и он вас пожалует и господь бог помилует.

— Рады стараться, батюшка! — закричали крестьяне. — Готовы и напередки.

— Да где у вас этот молодец, который с своими ребятами отрезал французов от речки? Кажется, он из церковников? Что он — дьячок, что ль?

— Студент Перервинской семинарии, ваше благородие! — сказал семинарист, сделав шаг вперед.

— А, старый знакомый! — вскричал Зарецкой, — Ну вот, бог привел нам опять встретиться. Помните ли, господин студент, как я догнал вас около Останкина?

— Как не помнить, господин офицер!

— Ну что? помогают ли вам комментарии Кесаря, бить французов?

— Как бы вам сказать, сударь? Странное дело! Кажется, и Кесарь дрался с теми же французами, да теперешние-то вовсе на прежних не походят, и, признаюсь, я весьма начинаю подозревать, что образ войны совершенно переменялся.

— Неужели?

— Да, сударь, да! Кесарь говорит одно, а делается совсем другое; разумеется, в таком случае *experientia est optima magistra* — сиречь: опыт — самый лучший наставник. Конечно, ум хорошо, а два лучше; *plus vident oculi...*

— Полно, Александр Дмитрич, не срамись! — шепнул сержант, толкнув локтем семинариста.

— Вот и вино! — перервал начальник отряда, откупоривая бутылку, которую вместе с серебряными стаканами подал ему казачий урядник. — Милости просим, господа, по чарке вина, за здоровье воина-семинариста.

— *Vene tibi!* Доктум семинаристу! (Твое здоровье! Ученому семинаристу! (лат.)) — закричал Зарецкой, выпивая свой стакан.

— *Respondebo tibi propinquantil* (Отвечаю тебе тем же! (лат.)) — возразил семинарист, протягивая руку.

— То есть, — подхватил начальник отряда, — и ваша ученость хочет выпить стаканчик?

Милости просим! Ну, что? — продолжал он, обращаясь к подходящему офицеру, — наши пленные ушли?

— Отправились, — отвечал офицер. — К ним в проводники вызвался один рыжий мужик, который берется довести их до нашего войска такими тропинками, что они не только с французами, но и с русскими не повстречаются: — Приказал ли ты построже, чтоб их дорогой казаки и крестьяне не обижали?

— Приказывал. Да ведь на них не угодишь. Представьте себе: один из этих французов, кирасирской поручик, так и вопит, что у него отняли — и как вы думайте что? Деньги? — нет! Часы, вещи? — и то нет! Какие-то любовные записочки и волосы! Поверите ли, почти плачет! А кажется, славный офицер и лихо дрался.

— Как! — вскричал начальник отряда, — у этого молодца отняли письма и волосы той, которую он любит? Ах, черт возьми! да от этого и я бы взвыл! Бедняжка! А знаете ли, какой он должен быть славный малый? Он любит и дрался как лев! Знаете ли, товарищи, что если б этот кирасир не был нашим неприятелем, то я поменялся бы с ним крестами? Да, господа, когда в булатной груди молодца бьется сердце, способное любить, то он брат мой! И на что этим пострелам его любовная переписка? Эй, Жигулин! узнай сейчас, кто обобрал пленного кирасирского офицера? Деньги и вещи перед ними; но чтоб все его бумаги были отысканы.

— Не извольте беспокоиться, — сказал семинарист, подавая начальнику отряда вышитый по канве книжник, — я захватил его из предосторожности — *difti-dentia tempestiva...* (военная предосторожность... (лат.))

— Давай его сюда! — перервал начальник отряда.

— Извольте хорошенько рассмотреть, ваше высокоблагородие! Между бумагами могут быть важные документы.

— О, преважные! но только не для нас, — перервал начальник отряда, рассматривая книжник. — *Adorable ami... cher Adolphe...* (обожаемый друг... дорогой Адольф... (фр.)) А вот и локон волос...

— Какая прелесть! — вскричал Зарецкой, — черные как смоль! — Портрет!.. Да она в самом деле хороша. Бедняжка! ну как же ему не реветь? Жигулин! садись на коня; ты догонишь транспорт и отдашь кирасирскому пленному офицеру этот бумажник; да постой, я напишу к нему записку

Начальник отряда вынул из кармана клочок бумаги, карандаш и написал следующее: — «*Recevez, monsieur, les effets qui vous sont si chers. Puissent ils, en vous rappelant l'objet aime, vous prouver que le courage et le malheur sont respectes en Russie comme ailleurs*» (Примите, милостивый государь, вещи, которые для вас столь дороги; пусть они, напоминая вам о предмете любви вашей, послужат доказательством, что храбрость и несчастье уважаются в России точно так же, как и в других странах (фр.)) Жигулин! отдай ему эту записку да смотри не потеряй бумажника... боже тебя сохрани! Отправляйся! Ну, господа! — продолжал начальник отряда, обращаясь к нашим приятелям, — что намерены вы теперь делать? Я, может быть, подвинусь с моим отрядом к Вязьме и стану кочевать в тылу у французов; а вы, вероятно, желаете пробраться к нашей армии?

— Да, — отвечал Зарецкой, — я давно уже тоскую о моем эскадроне, а по Владимире, верно, вздыхает наш дивизионный генерал.

— Так отправляйтесь вслед за пленными. Потрудитесь, Владимир Сергеевич, выбрать любую лошадь из отбитых у неприятеля, да и с богом! Не надобно терять времени; догоняйте скорее транспорт, над которым, Зарецкой, вы можете принять команду: я пошлю с вами казака.

Наши приятели, распростиясь с начальником отряда, отправились в дорогу и, догнав в четверть часа пленных, были свидетелями восторгов кирасирского офицера. Покрывая поцелуями портрет своей любезной, он повторял: «Боже мой, боже мой! кто бы мог подумать, чтоб этот казак, этот варвар имел такую душу!.. О, этот русский достоин быть французом! Il est Francais dans l'ame!» (Он француз в душе! (фр.))

Остальную часть дня и всю ночь пленные, под прикрытием тридцати казаков и такого же числа вооруженных крестьян, шли почти не отдыхая. Перед рассветом Зарецкой сделал привал и послал в ближайшую деревню за хлебом; в полчаса крестьяне навезли всяких съестных припасов. Покормив и своих и неприятелей, Зарецкой двинулся вперед. Вскоре стали им попадаться наши разъезды, и часу в одиннадцатом утра они подошли наконец к аванпостам русского авангарда.

ГЛАВА IX

Узнав на аванпостах, что полк Зарецкого стоит биваками в первой линии авангарда, наши приятели пустились немедля его отыскивать. Трудно было описать радость и удивление сослуживцев Зарецкого и Рославлева, когда они явились перед ними в своих маскарадных костюмах. Выходцев с того света не закидали бы таким множеством вопросов, как наших друзей, которые были в Москве и видели своими глазами все, что там делается. Офицеры на радостях затеяли пирушку: самовар закипел, пошла попойка, явились песельники и грянули хором авангардную песню, сочиненную одним из наших воинов-поэтов. Постукивая стаканами, офицеры повторяли с восторгом первый куплет ее:

Вспомним, братцы, россов славу

И пойдем врагов разить!

Защитим свою державу:

Лучше смерть — чем в рабстве жить!

Едва оправившийся от болезни, Рославлев не мог подражать своим товарищам, и, в то время как они веселились и опоражничали стаканы с пуншем, он подсел к двум заслуженным ротмистрам, которые также принимали не слишком деятельное участие в шумной радости других офицеров.

— Ну что вы, господа, подельваете с французами? — спросил Рославлев.

— Да покамест ничего! — отвечал один из них, закручивая свои густые с проседью усы.

— Мы стоим друг против друга, на передовых цепях от скуки перестреливаются; иногда наши казаки выезжают погарцевать в чистом поле, рисуются, тратят даром заряды, поддразнивают французов: вот и все тут.

— А никто так их не дразнит, как наш удалой авангардный начальник! — подхватил другой ротмистр, помоложе первого. — Он каждый день, так — для моциону, прогуливается вдоль неприятельской цепи.

— Да ему там только и весело, где свистят пули, — перервал старый ротмистр. — Всякой раз его встречают и провожают с пальбою; а он все-таки целехонек. Ну, правду он говорит, что его и смерть боится.

— Против нас командует Мюрат, — сказал другой ротмистр, — также молодец! Не знаю, каково он представляет короля у себя во дворце, но в деле, а особливо в кавалерийской атаке, дьявол! — так все и ломит. Нечего сказать, боек и он, а все за нашим графом не угоняется. Я слышал, что на этих днях Мюрату вздумалось под выстрелами русских часовых кушать кофе. На ту пору граф выехал также за нашу цепь; пули посыпались на него со всех сторон, но не помешали ему заметить удалство неаполитанского короля. «Бог мой! — вскричал он, — что это? Уж не хочет ли Мюрат удивить русских?.. Стол и прибор! я здесь обедаю». Не знаю, правда ли, только это очень на него походит.

— А можете ли вы мне сказать, господа, — спросил Рославлев, — где теперь полковник Сурской?

— Здесь, — отвечал старый ротмистр.

— Так он уж не служит при главном штабе?

— Я думаю, он скоро нигде служить не будет.

— Как?

— Да, вчера он приехал с приказаниями к нашему авангардному начальнику, обедал у него и потом отправился вместе с ним прогуливаться вдоль нашей цепи; какая-то шальная пуля попала ему в грудь, и если доктора говорят правду, так он не жилец.

— Ах, боже мой! — вскричал Рославлев, — сделайте милость, господа, скажите, где мне его отыскать?

— Он должен быть в обозе, вон за этим лесом, — сказал старый ротмистр.

— Да постойте, — продолжал он, — вас в этом наряде примут за маркитанта: наденьте хоть мою шинель.

Рославлев накинул шинель ротмистра и отправился к тому месту, где был расположен обоз нашего авангарда. Повстречавшийся с ним полковой фельдшер указал ему на низкую

избенку, которая, вероятно, уцелела оттого, что стояла в некотором расстоянии от большой дороги. Рославлев подошел к избе в ту самую минуту, как выходил из нее лекарь.

— Что полковник? — спросил он. Лекарь пожал плечами.

— Итак, нет никакой надежды?

— Никакой! Впрочем, он в полной памяти и всех узнает — пожалуйста!

Рославлев вошел в избу. В переднем углу на лавке лежал раненый. Все признаки близкой смерти изображались на лице умирающего, но кроткой взор его был ясен и покоен.

— Это ты, Рославлев? — сказал он едва слышным голосом. — Как я рад, что могу еще хоть раз поговорить с тобою. Садись!

— Но я думаю, вам запрещено говорить? — сказал Рославлев.

— Да, было запрещено вчера, а сегодня я получил разрешение.

— Поэтому вы чувствуете себя лучше?

— О, гораздо! я через несколько часов умру.

— Нет! — вскричал Рославлев, — не может быть... я не хочу верить...

— Чтоб старый твой приятель мог умереть? — перервал с улыбкою Сурской. — В самом деле, это невероятно!

— Но вы так спокойны?..

— Да о чем же мне беспокоиться? Ты, верно, знаешь, кто сказал: «Придите все труждающие, и аз успокою вас». А я много трудился, мой друг! Долго был игралищем всех житейских непогод и, видит бог, устал. Всю жизнь боролся с страстями, редко оставался победителем, грешил, гневил бога; но всегда с детской любовью лобызал руку, меня наказующую, — так чего же мне бояться? Я иду к отцу моему!

Сурской замолчал. Несколько минут Рославлев смотрел, не говоря ни слова, на это кроткое, спокойное лицо умирающего христианина.

— Боже мой! — вскричал он наконец, — что сказал бы неверующий, если б он так же, как я, видел последние ваши минуты?

— Он сказал бы, мой друг, — перервал Сурской, — что я в сильном бреде; что легковерное малодушие свойственно детям и умирающим; что уверенность в лучшей жизни есть необходимое следствие недостатка просвещения; что я человек запоздалый, что я найду вслед за моим веком. О мой друг! гордость и самонадеянность найдут всегда тысячи способов затмить истину. Нет, Рославлев! один бог может смягчить сердце неверующего. Я сам был молод, и часто сомнение, как лютей враг, терзало мою душу; рассудок обдавал ее холодом; я читал, искал везде истины, готов был ехать за нею на край света и нашел ее в самом себе! Да, мой друг! что значат все рассуждения, трактаты,

опровержения, доводы, все эти блески ума, перед простым, безотчетным убеждением того, кто верует? Все, что непонятно для нашего земного рассудка, — так чисто, так ясно для души его! Она видит, осязает, верует, тогда как мы, с бедным умом нашим, бродим в потемках и, желая достигнуть света, час от часу становимся слепее...

Сурской остановился; силы его приметным образом ослабевали.

— Несчастные! — продолжал он после короткого молчания, — если б они знали, чего им стоит их утешенное самолюбие? Кто укрепляет их в бедствии? Кого благодарят они в минуту радости? Бедные, жалкие сироты! они отреклись добровольно от отца своего, заключили жизнь в ее тесные, земные пределы. Ах, их сердца, иссушенные гордостью и неверием, не испытают никогда этой чистой, небесной любви, этого неизъяснимого спокойствия души... ты понимаешь меня, Рославлев!.. Бездушный противник веры, отрицающий все неземное, не может любить; кто любит, тот верует; а ты любил, мой друг!

Сурской остановился; дыхание его сделалось чаще, прерывистее; он взял за руку Рославлева.

— Да, Владимир Сергеевич, — сказал он, — я умираю спокойно; одна только мысль тревожит мою душу...

— И светлый взор умирающего помрачился, а на бледном челе изобразились сердечная грусть и беспокойство.

— Что станет с нашей милой родиной? — продолжал он. — Неужели господь нас не помилует? Неужели попустит он злодеям надругаться над всем, что для нас свято, и сгубит до конца землю русскую? Ах, мой друг! если б непреклонное правосудие было, прибежищем нашим, то я потерял бы всю надежду. Не сами ли мы хотели быть рабами тех, коим поклонялись, как идолам? Насмехаясь над добродушием наших предков — которые при всем невежестве своем были люди, — не добивались ли мы чести называться обезьянами французов? Вот они, наши образцы и наставники! Вот эти французы, у которых мы до сих пор умели перенимать только то, что достойно порицания! Нам ли прибегать к правосудию небесному? Нет! одно милосердие божие может спасти нас. Ах, Рославлев! для него я не умер годом прежде! Я не унес бы с собою в могилу ужасной мысли, что, может быть, русские будут рабами иноземцев, что кровь наших воинов будет литься не за отечество, что они станут служить не русскому царю! О, эта мысль отравляет последние мои минуты! Чувствую, мой друг, что я грешу пред господом: что слишком еще привязан к моему земному отечеству. Желал бы победить это чувство, но оно так сильно, так связано с моею жизнью... а я жив еще! Отечество!.. Россия!.. Пусть судит меня господь! но я чувствую, что даже и там не перестану быть русским.

Двери открылись, и полковой священник вошел в избу.

— Теперь ступай, Владимир Сергеевич! — сказал Сурской, — зайди ко мне опять часа через два; быть может, ты меня не застанешь, но я все-таки не прощаюсь с тобою. Я знаю твою душу, Рославлев: рано или поздно, а мы увидимся. Итак, до свиданья, Мой друг! Случалось ли вам провожать приятеля, который после долгого отсутствия возвращается наконец на свою родину? Вам грустно с ним расстаться; но если вы точно его любите, то поневоле улыбаетесь сквозь слезы, воображая, как весело будет ему обнять жену и детей, увидеть снова дом отцов своих и отдохнуть в нем от всех трудов утомительной и скучной дороги. Точно то же чувствовал Рославлев, прощаясь с своим другом. Какое-то грустное и вместе приятное чувство, наполняло его душу; слезы градом катились по лицу его, но сердце было совершенно спокойно. Отойдя от избы, он пустился прямо по полю к тому месту, где чернелись биваки передовой линии. Когда Рославлев стал подходить к балагану, в котором офицеры праздновали его возвращение, ему попался навстречу Зарецкой.

— Ага, беглец! — закричал он, увидя Рославлева, — разве этак порядочные люди делают? Мы пьем за твое здоровье, а ты дал тягу!

— Ты знаешь, мой друг, я много пить не люблю.

— А я и люблю, да не могу: тотчас голова закружится. Я вышел немного проветриться. Да, кстати! Граф сейчас поехал на передовую цепь; пойдем и мы туда.

— Пожалуй, пойдем.

— Правда, по нас будут стрелять, да, верно, не попадут.

— Не беда, если и попадут, мой друг.

— А! да ты опять захандрил! Пойдем скорей, Владимир: я заметил, что под пулями ты всегда становишься веселее.

Миновав биваки передовой линии, они подошли к нашей цепи. Впереди ее, на одном открытом и несколько возвышенном месте, стоял окруженный офицерами русской генерал небольшого роста, в звездах и в треугольной шляпе с высоким султаном. Казалось, он смотрел с большим вниманием на одного молодцеватого французского кавалериста, который, отделившись от неприятельской цепи, ехал прямо на нашу сторону впереди нескольких всадников, составляющих, по-видимому, его свиту.

— Как я рад, — сказал Рославлев, смотря на русского генерала, — что увижу наконец вблизи нашего Баярда. Представь себе, мне до сих пор не удалось ни разу хорошенько его рассмотреть!

— Да, его надобно видеть во время дела, — перервал Зарецкой, — а если так, то он покажется тебе весьма обыкновенным человеком. Он не красавец, не молодец собою и

даже неловок, а взгляни на него, когда он в самом пылу сражения летает соколом вдоль рядов своего бесстрашного авангарда, когда один взгляд его, одно слово воспламеняет души всех солдат. Ученик и сослуживец Суворова, он обладает, подобно ему, счастливым даром увлекать за собою сердца русских воинов: указывает им на батарею — и она взята; дарит их неприятельскими колоннами — и они истреблены. Но что это? никак, парламентар? Видишь этих французов? Они едут прямо на нас. Пойдем поближе. Рославлев и Зарецкой смешались с толпою офицеров, которые окружали начальника авангарда. Меж тем французы медленно приближались к тому месту, где стоял русской генерал. Впереди ехал видный собою мужчина на сером красивом коне; черные, огненные глаза и густые бакенбарды придавали мужественный вид его прекрасной и открытой физиономии; но в то же время золотые серьги, распущенные по плечам локоны и вообще какая-то не мужская щеголеватость составляла самую чудную противоположность с остальною частию его воинственного наряда, и без того отменно странного. Он был в куртке готического покроя, с стоячим воротником, на котором блистало генеральское шитье; надетая немного набок польская шапка, украшенная пучком страусовых перьев; пунцовые гусарские чихчиры и богатый персидский кушак; желтые ботинки посыпанная бриллиантами турецкая сабля; французское седло и вся остальная сбруя азиатская; вместо чепрака тигровая кожа, одним словом: весь наряд его и убор лошади составляли такое странное смешение азиатского с европейским, древнего с новейшим, мужского с женским, что Зарецкой не мог удержаться от невольного восклицания и сказал вслух: — Кой черт! что это за герольда (вестника (нем.)) выслали к нам французы? Уж нет ли у них конных тамбурмажоров?

— Что вы? — шепнул один из адъютантов русского генерала, — это Мюрат.

— Как? Неаполитанский король?

— Да.

— Хорошо же ему так дурачиться; вздумал бы этак пошалить наш брат, простой офицер...

— Так его бы посадили в сумасшедший дом, разумеется! Но тише: он слезает с лошади; вот и граф к нему подошел... Подойдемте и мы поближе. Наш генерал не дипломат и любит вслух разговаривать с неприятелем.

Зарецкой и Рославлев подошли вместе с адъютантом к русскому генералу в то время, как он после некоторых приветствий спрашивал Мюрата о том, что доставило ему честь видеть у себя в гостях его королевское величество?

— Генерал! — сказал Мюрат, — известны ли вам поступки ваших казаков? Они стреляют по фуражирам, которых я посылаю в разные стороны; даже крестьяне ваши при их помощи убивают наших отдельных гусар.

— Я очень рад, — отвечал русской генерал, — что казаки в точности исполняют мои приказания; мне также весьма приятно слышать из уст вашего величества, что крестьяне наши показывают себя достойными имени русских.

— Но это совершенно противно принятым повсюду обыкновениям, и если это продолжится, то я буду вынужден посылать целые колонны для прикрытия моих фуражиров.

— Тем лучше, ваше величество. Офицеры мои жалуются, что уже три недели ничего не делают: они горят желанием брать пушки и знамена.

— Но к чему стараться раздражать друг против друга два народа, достойные во всех отношениях взаимного уважения?

— Я и офицеры мои всегда готовы оказывать вашему величеству всевозможные знаки почтения; но фуражиров ваших всегда будем брать в плен и всегда разбивать колонны, которые вы станете посылать для их прикрытия.

Мюрат нахмурился и, помолчав несколько времени, сказал с досадою:

— Генерал! неприятеля не бьют словами; взгляните на карту: вы увидите занятые нами у вас провинции и то, куда мы зашли.

— Карл Двенадцатый заходил еще далее, — отвечал спокойно русской генерал, — он был в Полтаве.

— Но мы всегда оставались победителями, — сказал с гордым взглядом Мюрат.

— Всегда? Русские сражались только при Бородине.

— Да, и после этого сражения мы взяли Москву.

— Извините, ваше величество! Москва была оставлена.

— Как бы то ни было, но мы владеем вашей древней столицею.

— Так, ваше величество! и эта мысль мучительна для всякого русского! Это величайшая жертва, принесенная нами для спасения отечества, и мы начинаем уже пользоваться выгодами, происходящими от этого пожертвования.

— Выгодами? Какими?

— Мне известно, что Наполеон посылал генерала Лористона к нашему главнокомандующему для переговоров о мире; я знаю, что ваши войска должны довольствоваться в течение двух и более суток тем, что едва достаточно для прокормления их в одни сутки...

— Эти известия совершенно ложны, — перервал Мюрат.

— Я знаю, — продолжал хладнокровно русской генерал, — что король Неаполитанский приехал ко мне просить пощады своим фуражирам и завести род переговоров, чтоб успокоить хотя несколько своих солдат.

— Извините! — перервал Мюрат, стараясь скрывать свою досаду и смущение, — я посетил вас совершенно случайно: мне хотелось только открыть вам происходящие у вас злоупотребления; неустройство большое несчастье для армии: оно ослабляет ее. — Но в таком случае, — возразил с улыбкою русской генерал, — вашему величеству надлежало бы поощрять нас к этому. Прекрасное неустройство, которым мы истребляем французских фуражиров!

— Впрочем, генерал! вы ошибаетесь насчет нашего положения. Москва всем достаточно снабжена: мы ожидаем бесчисленных подкреплений, которые к нам, идут. — Но неужели, ваше величество, думаете, что мы далее от наших подкреплений, чем вы от своих?

Мюрат снова замолчал. Смущение его становилось час от часу заметнее; он перебирал концы своего богатого кушака, поглядывал с рассеянным видом на все стороны и решился наконец объявить, что приехал жаловаться на наших аванпостных начальников. — Я отдаюсь на ваше правосудие, генерал! — сказал он, — ваши солдаты дважды стреляли по нашим парламентарам.

— Да мы и слышать о них не хотим, — отвечал русской генерал. — Мы желаем сражаться, а не переговоры вести. Итак, примите ваши меры...

— Как, сударь? — вскричал Мюрат, — поэтому и я здесь не в безопасности?

— Ваше величество на многое отважитесь, если в другой раз захотите сюда приехать; но сегодня я буду иметь честь сам проводить вас до ваших аванпостов. Гей, лошадь!

— Признаюсь, я никогда не слыхивал о таком образе войны! — сказал с досадою Мюрат.

— А я думаю, что слышали, — возразил русской генерал, садясь на лошадь.

— Но где же?

— В Испании.

— Ну, — сказал Рославлев, смотря вслед за уезжающим Мюратом, — напрасно же его величество изволил трудиться...

— Знаешь ли, что он мне теперь напомнил? — перервал Зарецкой. — Лафонтень рассказывает об одной бесхвостой лисице...

— А ведь это хорошая примета, — сказал Рославлев, — когда волки становятся лисицами?..

— Так, видно, догадалась, что повали в западню, — примолвил Зарецкой. — Ну что, Владимир, — продолжал он, — не отправиться ли нам пообедать чем бог послал?

— Ступай, мой друг! а я зайду на минуту проведать Сурского.

Рославлев застал еще в живых своего умирающего друга; но он не мог уже говорить. Спокойно, с тихой улыбкою на устах закрыл он навек глаза свой. Последний вздох его был молитвою за милую родину!

Публикация подготовлена О.В. Поляковым.